АНТОН МАКАРЕНКО

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Бестселлеры воспитания

Антон Макаренко

Педагогическая поэма. Полная версия

«Public Domain»
1936

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макаренко А. С.

Педагогическая поэма. Полная версия / А. С. Макаренко — «Public Domain», 1936 — (Бестселлеры воспитания)

ISBN 978-5-17-099323-9

Антон Макаренко – гениальный педагог и воспитатель. Его система воспитания основана на трех основных принципах – воспитание трудом, игра и воспитание коллективом. В России имя Антона Семеновича Макаренко уже давно стало нарицательным и ассоциируется с человеком, способным найти правильный подход к самому сложному ребенку…Уже более 80 лет «Педагогическая поэма», изданная впервые в трех частях в 1936 г., пользуется популярностью у родителей, педагогов и воспитателей по всему миру. В 2000 г. она была названа Немецким обществом научной педагогики в числе десяти лучших педагогических книг XX века. В настоящем издании публикуется полностью восстановленный текст «Поэмы».Книга адресована родителям и педагогам, преподавателям и студентам педагогических учебных заведений, а также всем интересующимся вопросами воспитания.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-099323-9

© Макаренко А. С., 1936
© Public Domain, 1936

Содержание

От составителя 6
Часть первая 26
[1] Разговор с завгубнаробразом 26
[2] Бесславное начало колонии имени Горького 28
[3] Характеристика первичных потребностей 35
[4] Операции внутреннего характера 41
[5] Дела государственного значения 46
[6] Завоевание железного бака 50
[7] «Ни одна блоха не плоха» 54
[8] Характер и культура 60
[9] «Есть еще лыцари на Украине» 64
[10] «Подвижники соцвоса» 73
[11] Сражение на ракитном озере 78
[12] Триумфальная сеялка 82
[13] На педагогических ухабах 86
[14] Братченко и райпродкомиссар 91
[15] Осадчий 96
[16] Чернильницы по-соседски 100
[17] «Наш – найкращий» 104
[18] Габерсуп 110
[19] Шарин на расправе 115
[20] «Смычка» с селянством 119
[21] Игра в фанты 123
[22] О живом и мертвом 129
Конец ознакомительного фрагмента. 136

Антон Макаренко
Педагогическая поэма. Полная версия

К 130-летию со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–1939)

С преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю Максиму Горькому

© С. С. Невская, составление, вступительная статья, примечания, комментарии, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

От составителя «Поэма всей моей жизни…»

Перед вами, дорогой читатель, удивительная книга – «Педагогическая поэма», внимательно читая которую проникаешь в глубины сознания тонкого знатока человеческой психологии Антона Семеновича Макаренко, масштаб личности которого вызывает глубокое чувство уважения.

В 2016 г. исполнилось 80 лет «Педагогической поэме», отдельное издание которой в трех частях появилось в 1936 г. «Поэма» имеет необычную десятилетнюю историю создания, но прежде чем раскрыть эту историю, обратимся к малоизвестным широкому кругу читателей страницам биографии А. С. Макаренко – великого педагога XX века.

Страницы жизни и деятельности А. С. Макаренко

А. С. Макаренко родился 13 (1 по ст. ст.) марта 1888 г. в г. Белополье (ныне Сумская область Украины).

Брат, Виталий Семенович, вспоминал, что отец, Семен Григорьевич, работал в железнодорожных мастерских (мастер-моляр). Сиротское детство наложило на характер отца свой след: «он всегда был немного замкнутым, скорее молчаливым, с небольшим налетом грусти».[1] Родился Семен Григорьевич в Харькове, где говорили на самом красивом русском языке.

Мать, Татьяна Михайловна, «и подавно не знала “украинской мовы” – ее родные были выходцы из Орловской губ.».[2] «Ее отец, Михаил Дергачев, служил небольшим чиновником в Крюковском интендантстве и имел в Крюкове довольно приличный дом. Мать происходила из дворян, но из обедневшей дворянской семьи».[3]

В семье С. Г. Макаренко было четверо детей: старшая дочь Александра, старший сын Антон, младший – Виталий и младшая дочь Наташа, которая умерла в детском возрасте от тяжелой болезни. Татьяна Михайловна была заботливой матерью и хозяйкой.

Виталий Макаренко признавался, что семья была патриархальной, как и большинство семей в ту эпоху. «Отец каждое утро и каждый вечер совершал перед иконой короткую молитву. В Белополье он даже был церковным старостой. Характеры у родителей были разные, но спокойные и у отца, и у матери. Мама была шутница, вся пронизана украинским юмором, подмечавшим у людей смешные стороны».[4]

Семен Григорьевич свободно писал, выписывал газету и журнал «Нива». Приложения к журналу содержал в строгом порядке; «здесь были полные собрания сочинений А. Чехова, Данилевского, Короленко, Куприна, а из иностранных писателей… Бьернстерне Бьернсон, С. Лагерлеф, Мопассан, Сервантес и др.».[5]

Старшего сына Антона отец научил читать в пять лет. Виталий Семенович в своих воспоминаниях подчеркивал, что Антон «обладал колоссальной памятью, и его способность ассимиляции была, прямо, неограниченна. Без преувеличения можно сказать, что в то время он, конечно, в Крюкове был самым образованным человеком на все 10 тысяч населения».[6] Читал

---

[1] На разных берегах… Судьба братьев Макаренко / Составление и комментарии Г. Хиллига. – М.: Издательский центр «Витязь», 1998. С. 24.

[2] Там же. С. 167.

[3] На разных берегах… С. 25.

[4] Там же. С. 29.

[5] Там же. С. 25.

[6] Там же. С. 31.

книги по философии, социологии, астрономии, естествознанию, художественной критике, «но, конечно, больше всего он читал художественные произведения, где прочел буквально все, начиная от Гомера и кончая Гамсуном и Максимом Горьким».[7]

По признанию брата, Антон Семенович особенно увлекался русской историей. Виталию Семеновичу запомнились имена известных историков: Ключевского, Платонова, Костомарова, Милюкова; читал «Историю Украины» Грушевского, книги Шильдера «Александр I», «Николай I».

Из всеобщей истории, вспоминал Виталий, его интересовала история Рима («он прочитал всех древних римских историков»), а также история французской революции, «по которой он прочел несколько трудов, из них довольно солидный в 3-х томах, перевод с французского (“Французская революция”) – имя автора я не запомнил».[8]

По количеству прочитанных юным Антоном книг, отмечал Виталий, далее шла философия («особенно увлекался Ницше и Шопенгауэром»). «Большое впечатление на него также произвели произведения В. Соловьева и Э. Ренара и книга Отто Вайнингера «Пол и характер». Появление этой последней книги в то время было настоящим литературным событием».[9] Читал буквально все, что появлялось на книжном рынке из художественной литературы. «Бесспорными “кумирами” этой эпохи были Максим Горький и Леонид Андреев, и из иностранных писателей – Кнут Гамсун. Затем последовали Куприн, Вересаев, Чириков, Скиталец, Серафимович, Арцыбашев, Сологуб, Мережковский, Аверченко, Найденов, Сургучев, Тэффи и др. Из поэтов А. Блок, Брюсов, Бальмонт, Фофанов, Гиппиус, Городецкий и др. Из иностранных авторов, кроме Гамсуна, назову: Г. Ибсен, А. Стриндберг, О. Уайльд, Д. Лондон, Г. Гауптман, Б. Келлерман, Г. Д’Аннунцио, А. Франс, М. Метерлинк, Э. Ростан и многие другие».[10] «Антон читал внимательно, поразительно быстро, не пропуская ничего, и спорить с ним о литературе было совершенно бесполезно». Не пропускал сборники «Знание», «Шиповник», «Альциона», выписывал журнал «Русское богатство», петербургский сатирический журнал «Сатирикон» и московскую газету «Русское слово», покупал иллюстрированные журналы «Столица и усадьба», «Мир искусства». Книги и сборники не хранил, «вся библиотека Антона состояла из 8 томов Ключевского – «Курс русской истории», и 22 томов «Большой энциклопедии», которую он купил в кредит в 1913 г.».[11]

В 1901 г. семья С. Г. Макаренко переехала в Крюков. В 1904 г. старший сын Антон с отличием окончил Кременчугское 4-классное городское училище, а в 1905 г. – педагогические курсы при нем. А с 17 лет он работал учителем сначала Крюковского 2-классного железнодорожного начального училища, затем железнодорожного училища на станции Долинская (1911–1914 гг.).

Работу А. С. Макаренко в Долинском железнодорожном училище наблюдал народный учитель Л. Степанченко. Он вспоминал: «А. С. Макаренко был всего тремя годами старше меня, но своей эрудированностью он удивлял и поначалу прямо-таки угнетал меня. (…) Обнаружив в моей голове литературный вакуум, советует мне прочесть Лескова, Тургенева, Некрасова, Достоевского, Толстого Л. Н., Бальзака, Джека Лондона, Горького…». И далее: «Ученическая любовь к нему была всеобщей. И не удивительно: он все время был с детьми. Осень и весна – мяч, городки, канат-перетяжка. Веселье, смех, и бодрость! И всюду он организующий,

[7] Там же.

[8] Там же.

[9] На разных берегах… С. 31.

[10] Там же. С. 32.

[11] Там же.

веселящийся вместе с ребятами. Зима – ученические вечера: интересные, красочно оформленные, с массой участников».[12]

В 1914 г. в 27-летнем возрасте А. С. Макаренко поступил в Полтавский учительский институт. В октябре 1916 г. был призван в армию и рядовым направлен в Киев. Весной 1917 г. его сняли с военного учета из-за близорукости. В том же году он окончил учительский институт с золотой медалью, а с 9 сентября 1917 г. недолго преподавал в образцовом училище при Полтавском институте. После революции А. С. Макаренко возглавил Крюковское железнодорожное училище.

С приходом в 1919 г. в Крюков армии Деникина Антон Семенович вернулся в Полтаву, где получил должность заведующего вторым городским начальным училищем имени Куракина. С осени 1919 г. А. С. Макаренко являлся членом правления городского профсоюза учителей русских школ, избирался заместителем начальника отдела трудовых колоний при Полтавском губнаробразе.

События Гражданской войны коснулись и семьи Макаренко. Отец умер еще в 1916 г., а брат Виталий, поручик, вынужден был эмигрировать (без жены и ребенка) в 1920 г. Решение А. С. Макаренко поменять работу с обычными детьми на работу с несовершеннолетними правонарушителями, возможно, было вызвано сложными семейными проблемами. Антон Семенович приступил к работе в колонии в местечке Трибы в 6 км от Полтавы.

Некоторое время (с 1922 г.) братья переписывались. В. С. Макаренко по памяти (письма сгорели) восстановил одно из писем Антона Семеновича: «“… Мама живет у меня. Она очень грустит по тебе и называет меня иногда Витей. Она постарела, но еще очень бодра и сейчас читает уже 3-й том “Войны и мира” Толстого…”. “… После твоего ухода наш дом был разграблен, то, что называется до нитки. Не только унесли мебель, но даже забрали дрова и уголь в сарае…”. “… Я страшно жалею, что ты не со мной. У нас очень много мещан и до ужаса мало энтузиастов…”. “…Я думаю, что тебе рано еще возвращаться на родину. Разбушевавшееся море еще не совсем успокоилось…”».[13]

Итак, в 1920 г. А. С. Макаренко принял руководство детским домом для несовершеннолетних правонарушителей под Полтавой, позже получившим название детской трудовой колонии им. М. Горького (1920–1928 гг.). Этот период его жизни и деятельности изображен в «Педагогической поэме». Первую часть «Поэмы» («Горьковской истории») он начал писать в 1925 г. С этого года Антон Семенович и его колонисты переписывались со своим шефом Алексеем Максимовичем Горьким.

Еще после окончания Полтавского учительского института А. С. Макаренко сделал попытку поступить в Московский университет, но ему, как уже получавшему государственную стипендию, в этом было отказано (надо было отработать положенный срок). В 1922 г. Антон Семенович осуществил свою мечту и стал студентом Московского Центрального института организаторов народного просвещения им. Е. А. Литкенса. Неиссякаемая жажда знаний преследовала педагога всю жизнь. Вот что он писал в то время в документе «Вместо коллоквиума»:

«… *История* – мой любимый предмет. Почти на память знаю Ключевского и Покровского. Несколько раз прочитывал Соловьева. Хорошо знаком с монографиями Костомарова и Павлова-Сильванского. Нерусскую историю знаю по трудам Виппера, Аландского, Петрушевского, Кареева. Вообще говоря, вся литература по истории, имеющаяся на русском языке, мне известна. Специально интересуюсь феодализмом во всех его исторических и социологических проявлениях. Прекрасно знаком с эпохой Великой французской революции. Гомеровскую Грецию знаю после штудирования Илиады и Одиссеи.

---

[12] *Степанченко Л.* Антон Семенович Макаренко в моей жизни // Жизнь и педагогическая деятельность А. С. Макаренко в дореволюционной России. Серия «Неизвестный Макаренко». Вып. 7. / Составитель и автор вступительной статьи С. С. Невская. – М.: НИИ Семьи, 1988. С. 21–22, 26–27.

[13] На разных берегах… С. 63.

По социологии, кроме социологических этюдов указанных исторических писателей, знаком со специальными трудами Спенсера, М. Ковалевского и Денграфа, а также с Ф. де Куланжем и де Роберти. Из социологии лучше всего известны исследования о происхождении религии, о феодализме.

В области *политической экономии и истории социализма* штудировал Туган-Барановского и Железнова. Маркса читал отдельные сочинения, но «Капитал» не читал, кроме как в изложении. Знаком хорошо с трудами Михайловского, Лафарга, Маслова, Ленина.

*По политическим убеждениям – беспартийный. Считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития, но полагаю, что пока под социологию не подведен крепкий фундамент научной психологии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм. (*Курсивом выделен текст, не вошедший в Педагогические сочинения А. С. Макаренко. – С. Н.*)*

Логику знаю очень хорошо по Челпанову, Минто и Троицкому.

Читал все, что имеется на русском языке, *по психологии*. В колонии сам организовал кабинет психологических наблюдений и эксперимента, но глубоко убежден в том, что науку психологию нужно создавать сначала.

Самым ценным, что было до сих пор сделано в психологии, считаю работы Петражицкого. Читал многие его сочинения, но «Очерки теории права» не удалось прочесть.

Индивидуальную психологию считаю не существующей – в этом больше всего убедила меня судьба нашего Лазурского. Независимо от вышеизложенного, люблю психологию, считаю, что ей принадлежит будущее.

С философией знаком очень несистематично. Читал Локка, «Критику чистого разума» [Канта], Шопенгауэра, Штирнера, Ницше и Бергсона. Из русских очень добросовестно изучил Соловьева. О Гегеле знаю по изложениям.

Люблю изящную *литературу*. Больше всего почитаю Шекспира, Пушкина, Достоевского, Гамсуна. Чувствую огромную силу Толстого, но не люблю, терпеть не могу Диккенса. Из новейшей литературы знаю и понимаю Горького и Ал. Н. Толстого. В области литературных образов много приходилось думать, и поэтому мне удалось самостоятельно установить их оценку и произвести сопоставление. В Полтаве пришлось довольно удачно поработать над составлением вопросника к отдельным произведениям литературы. Я думаю, что обладаю способностями (небольшими) литературного критика.

О своей специальной области – *педагогике* много читал и много думал. В Учительском институте золотую медаль получил за большое сочинение «Кризис современной педагогики», над которым работал 6 месяцев».[14]

11 ноября 1922 г. А. С. Макаренко-студент выступает с докладом «Гегель и Фейербах», а 27 ноября пишет заявление: «Вследствие полученных мною сообщений от воспитанников и воспитателей Полтавской трудовой колонии для морально-дефективных, которую я организовал и вел в течение двух лет, я считаю себя обязанным немедленно возвратиться в колонию, чтобы вовремя остановить процесс распада колонии. О моем возвращении телеграфировал мне и Губсоцвос…».

Таким образом, учиться пришлось только с 14 октября по 27 ноября. Из-за разлада в колонии им. М. Горького Антон Семенович оставил учебу и вернулся в Полтаву. Педагогу не только удалось наладить жизнь колонии, но и превратить ее в образцовую. В 1926 г. колония им. М. Горького была переведена в Куряж (под Харьковом).

[14] Воспитание гражданина в педагогике А. С. Макаренко: В 2 ч. / Автор монографии, примечаний, редактор-составитель С. С. Невская – М.: Академический Проект, Альма Матер. 2006. Ч.2. С. 443–445.

С 1927 г. А. С. Макаренко совмещал работу в колонии с организацией детской трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. В 1928 г. он вынужден был уйти из колонии им. М. Горького. До 1932 г. Макаренко являлся заведующим, а с 1932 по 1935 гг. – начальником педагогической части коммуны им. Ф. Э. Дзержинского.

В 1934 г. А. С. Макаренко был принят в Союз писателей. В 1932–1936 гг. при поддержке М. Горького были изданы художественные произведения А. С. Макаренко: «Марш 30 года», «Педагогическая поэма», пьеса «Мажор».

Летом 1935 г. Антона Семеновича отозвали из коммуны в Киев, назначив заместителем начальника Отдела трудовых колоний НКВД Украины, где он руководил учебно-воспитательной частью. Но и в новой должности педагог взял на себя (по совместительству) руководство колонией несовершеннолетних правонарушителей № 5 в Броварах под Киевом.

В начале 1937 г. А. С. Макаренко переехал в Москву, посвятив себя литературной и общественно-педагогической деятельности. В 1937–1939 гг. были опубликованы его произведения: «Книга для родителей» (ж. «Красная новь, 1937, № 710), повесть «Честь» (ж. «Октябрь», 1937, № 11–12, 1938, № 56), «Флаги на башнях» («Красная новь», 1938, № 6,7,8), статьи, очерки, рецензии и т. д.

30 января 1939 г. А. С. Макаренко был награжден орденом Трудового Красного Знамени «за выдающиеся успехи и достижения в области развития советской художественной литературы».

1 апреля 1939 г. Антон Семенович Макаренко скоропостижно скончался от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Перестало биться сердце непревзойденного педагога-мастера, тончайшего психолога, талантливого писателя, сценариста, драматурга, литературного критика.

За свою недолгую жизнь А. С. Макаренко совершил главный свой подвиг: он дал путевку в жизнь бывшим несовершеннолетним правонарушителям, воспитал их, приобщил к культуре, дал образование, научил быть счастливыми! Он стал им отцом!

Еще при жизни Антона Семеновича представители педагогического «Олимпа», наблюдая за его питомцами, говорили: «Набрали хороших детей, одели и показывают. Вы возьмите настоящих беспризорных!»

На подобные реплики педагог отвечал: «До того все перевернулось в этих головах, что пьянство, воровство и дебош в детском учреждении они уже стали считать признаками успеха воспитательной работы и заслугой ее руководителей… То, что являлось прямым результатом разума, практичности, простой любви к детям, наконец, результатом многих усилий и моего собственного каторжного труда, то, что должно было ошеломляюще убедительным образом вытекать из правильности организации и доказывать эту правильность, – все это объявлялось просто не существующим. Правильно организованный детский коллектив, очевидно, представлялся таким невозможным чудом, что в него просто не верили, даже когда наблюдали его в живой действительности… Коротко я отметил в своем сознании, что по всем признакам у меня нет никакой надежды убедить олимпийцев в моей правоте. Теперь уже было ясно, что чем более блестящи будут успехи колонии и коммуны, тем ярче будет вражда и ненависть ко мне и к моему делу. Во всяком случае, я понял, что моя ставка на аргументацию опытом была бита: опыт объявлялся не только не существующим, но и невозможным в реальной действительности».

Эти строки взяты из рукописи 14-й главы третьей части «Педагогической поэмы», но, как и другие высказывания, реплики, сценки и даже целые главы, при первых изданиях книги были исключены и восстановлены только в новом издании 2003 г. А. С. Макаренко писал: «Это поэма всей моей жизни, которая хоть и слабо отражается в моем рассказе, тем не менее, представляется мне чем-то “священным”».

До появления в печати «Поэмы» он успел опубликовать «Марш 30 года» и написать повесть «ФД 1», которая при его жизни не была опубликована и, в связи с этим, частично была потеряна. Первый редактор Антона Семеновича Юрий Лукин писал: «“Марш 30-го года” был своего рода литературным экспериментом А. С. Макаренко. После того, как этот опыт увенчался неожиданным для скромного автора успехом, создается новая, тоже экспериментальная в этом же смысле работа “ФД 1”… Книга “ФД 1” не была издана в то время. Рукопись ее, к сожалению, уцелела лишь частично… Это примерно половина рукописи. “ФД 1”, по сути, продолжает повествование “Марша 30-го года”. Здесь показан новый этап в трудовом воспитании коммунаров, точнее говоря – переход от воспитания трудового к производственному». [15]

История создания «Педагогической поэмы»

«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко создавалась 10 лет. Началом работы над книгой сам Антон Семенович называл 1925 г. Однако писать приходилось в редкие минуты отдыха. Педагог был не просто руководителем колонии им. М. Горького. Он – ее создатель, мозг, душа! Колонисты между собой называли своего завкола «Антон». Соратник и друг Макаренко К. С. Кононенко вспоминал, что, поступив на работу в коммуну имени Дзержинского в марте 1932 г., не застал там Макаренко (тот был в отпуске). Но именно его отсутствие особенно резко дало понять значимость А. С. Макаренко для коммуны. Именем «Антон» был насыщен воздух коммуны, везде и по всякому поводу произносили это слово. «И было в этом что-то такое, что невольно обращало на себя внимание… Здесь в слове “Антон” было что-то неизмеримо большее… было столько уважения, безыскусственной восторженности, столько теплоты…». [16] Так было в коммуне в 1930-е гг., но так было и в колонии в 1920-е гг.: сыновья любовь, уважение, восторженность. Колонисты видели в нем отца – строгого, требовательного и справедливого.

В 1927 г. в жизни А. С. Макаренко произошли резкие перемены. Его педагогическая система не устраивала педагогический «Олимп», но он категорически отказался от каких бы то ни было перемен в своей работе. Именно в это сложное для него время пришло решение создать свою семью. Встреча с Галиной Стахиевной Салько перевернула всю его жизнь: она стала в те трудные годы его путеводной звездой, его музой. Они познакомились, когда Галине Стахиевне было 34 года, а Антону Семеновичу – 39 лет. Г. С. Салько – председатель комиссии по делам несовершеннолетних Харьковского окрисполкома. А. С. Макаренко полюбил эту женщину, полностью ей доверял. В самый трудный (потерял колонию) и счастливый (полюбил) год своей жизни писал «своей музе» письма о своей любви, о своих тревогах и планах. Так, 3 октября 1928 г. он признавался:

«… Я думаю о том, как по неожиданному, какому-то новому закону в моей жизни случились две огромные вещи: я полюбил Вас и я потерял колонию Горького. Об этих двух вещах я думаю очень много и напряженно. Мне хочется, чтобы моя жизнь продолжала вертеться вокруг новой таинственной оси, как она вертится вот уже второй год.

Ничего подобного в моей жизни никогда не было. Дело тут не в том, что я потерпел неудачу или удачу. Удачи и неудачи в моей жизни и раньше бывали, но они были логичны, были связаны стальными тяжами со всеми имеющимися законами жизни и, особенно, с моими собственными законами и привычками. Я привык стоять на твердой позиции твердого человека, знающего себе цену, и цену своему делу, и цену каждой шавке, которая на это дело лает… Мне казалось, что в моей жизни заключена самая веселая, самая умная, самая общественно ценная философия настоящего человека.

---

[15] *Лукин Ю.* А. С. Макаренко. – М.: Советский писатель, 1954. С. 54–55.

[16] Свидетельства искренней дружбы: Воспоминания К. С. Кононенко о А. С. Макаренко. – Марбург, 1997. С.2.

Сколько годов создавалась эта моя история? Я уже успел приблизиться к старости, я был глубоко убежден, что нашел самую совершенную форму внутренней свободы и внутренней силы, силы при этом совершенно неуязвимой во всем великолепии своего спокойствия.

А вот пришел 27 год, и все в какие-нибудь две недели полетело прахом».[17]

Заботливое отношение А. С. Макаренко к Г. С. Салько и ее сыну Леве отразилось в переписке. В письме от 10 октября 1928 г. он решительно настаивал доверить ему сына: «Говорю прямо: Леву нужно взять из его теперешнего окружения, иначе из него выйдет полуграмотный дилетант и советский чиновник, ко всему относящийся с ни к чему не обязывающей иронией. Разве это не так? Что Лева может потерять в коммуне? Самое опасное, о чем можно было бы говорить – это образование. Но какое? Не то ли, какое дается в наших семилетках? Мы дадим ему совершенно новый и интересный мир: производства, машины, уменья, ловкости и уверенности. В области грамотности, простите, Солнышко, но наша теперешняя пятая группа, куда попадет Лева, гораздо грамотнее его, я сужу по его письмам… Одним словом, я Леву забираю и кончено…»[18]

В июле 1927 г. Галина Стахиевна подарила Антону Семеновичу свою фотографию (фото 1914 г.). А. С. Макаренко заключил фотографию в рамку, а на обороте сделал следующую надпись: «Бывает так с человеком: живет, живет на свете человек и так привыкает к земной жизни, что впереди уже ничего не видит, кроме Земли. И вдруг он находит… месяц. Вот такой, как “на обороте сего”. Месяц, со спокойным удивлением взирающий и на Человека и на Землю. Ясному месяцу посылает человек новый привет, совсем не такой, какие бывают на Земле. А. Макаренко. 5/7 1927». Эта фотография стояла на его письменном столе.

А через пять дней Антон Семенович пишет письмо, в котором раскрывает близкому человеку свой внутренний мир, который всегда оберегал от других, следуя словам любимого поэта Тютчева «молчи, скрывайся и таи и мысли и мечты свои»:

«Сейчас 11 часов. Я прогнал последнего охотника использовать мои педагогические таланты, и одинокий вступаю в храм моей тайны. В храме жертвенник, на котором я хочу распластать весь мир. Да, именно весь мир. Если Вы читали ученые книги, Вы должны знать, что мир очень удобно вмещается в каждом отдельном сознании. Будьте добры, не думайте, что такой мир – очень мало. Мой мир в несколько мириадов раз больше вселенной Фламариона и, кроме того, в нем отсутствуют многие ненужные вещи фламарионовского мира, как то: африканский материк, звезда Сириус, или альфа Большого Пса, всякие горы и горообразования, камни и грунты, Ледовитый океан и многое другое. И зато в моем мире есть множество таких предметов, которые ни один астроном не поймает и не изменит при помощи самых лучших своих трубок и стеклышек…»[19]

Заканчивается письмо такими словами:

«Я еще знаю, что мне не дано изобретать закон моей любви, что я во власти ее стихии и что я должен покориться. И я знаю, что сумею благоговейно нести крест своего чувства, что я сумею торжественно истлеть и исчезнуть со всеми своими талантами и принципами, что я сумею бережно похоронить в вечности свою личность и свою любовь. Может быть, для этого нужно говорить и говорить, а может быть, забиться в угол и молчать, а может быть, разогнавшись, расшибиться о каменную стенку Соцвоса, а может быть, просто жить. “Все благо”. Но что я непременно обязан делать – это благодарить Вас за то, что Вы живете на свете, и за то, что Вы не прошли мимо случайности – меня. За то, что Вы украсили мою жизнь смятением и

[17] Ты научила меня плакать… (переписка А. С. Макаренко с женой. 1927–1939). В 2 т. – Т. 1 / Составление и комментарии Г. Хиллига и С. Невской. – М.: Издательский центр «Витязь», 1994. С. 120–122.

[18] Там же. С. 137.

[19] Ты научила меня плакать… С. 17–20.

величием, покорностью и взлетом. За то, что позволили мне взойти на гору и посмотреть на мир. Мир оказался прекрасным».[20]

В другом письме Антон Семенович делает еще одно признание, открывая и обнажая свой внутренний мир:

«Каждое слово, сказанное сейчас или написанное, кажется мне кощунством, но молчать и смотреть в черную глубину одиночества невыносимо. Каждое мгновение сегодня – одиночество. (…) Я стою перед созданным мною в семилетнем напряжении моим миром, как перед ненужной игрушкой. Здесь столько своего, что нет сил отбросить ее, но она вдруг сломана, и для меня не нужно уже ее поправить.

Сегодня я не узнаю себя в колонии. У меня нет простоты и искренности рабочего движения – я хожу посреди ребят со своей тайной, и я понимаю, что она дороже для меня, чем они, чем все то, что я строил в течение семи лет. Я как гость в колонии.

Я всегда был реалистом. И сейчас я трезво сознаю, что мой колонийский период нужно окончить, потому что я выкован кем-то наново. Мне нужно перестроить свою жизнь так, чтобы я не чувствовал себя изменником самому себе…»[21]

В своих откровенных письмах-исповедях А. С. Макаренко не только раскрывает душу и сердце, он передает в них свой «благоговейный трепет перед даром судьбы»: неожиданным счастьем любить и быть любимым. С этого момента Антон Семенович будет утверждать, что человека нужно воспитывать счастливым, это счастье (ответственность за свое и чужое счастье) в руках каждого человека.

Через десять месяцев – май 1928 г. – горьковский период его жизни разобьется о «каменную стену» соцвоса. В письме (в ночь с 12 на 13 мая) Галине Стахиевне Антон Семенович сообщает: «Сейчас только закончился педсовет, на котором я объявил о моем уходе. Решили, что наш педсовет своего кандидата в заведующие не оставляет. Вообще большинство, вероятно, уйдет в ближайшие месяцы. Я собственно собрал педсовет для того, чтобы установить общую тактику по отношению к воспитанникам. Хочу, чтобы мой уход прошел безболезненно. Прежде всего нужно добиться, чтобы никаких ходатайств или депутаций о моем возвращении не было. Эта пошлость повела бы только к новым оскорблениям меня и колонии. Настроение у наших педагогов даже не подавленное, а просто шальное, тем не менее, все единодушно одобряют мое решение, всем очевидно, что другого решения быть не могло».[22]

В это сложное время А. С. Макаренко поделился своими писательскими мечтами с Г. С. Салько: «Вообще: писать книгу, то только такую, чтобы сразу стать в центре общественного внимания, завертеть вокруг себя человеческую мысль и самому сказать нужное сильное слово». Эти слова оказались пророческими – рождается поэма всей его жизни!

Итак, цель была поставлена высокая, но путь к ней оказался долгим и тернистым.

В общем плане «Педагогической поэмы», составленном в 1930–1931 гг., А. С. Макаренко указал, что фоном для предполагаемых 4-х частей книги является развитие русской революции.

На *фоне первой части* планировалось отразить «последние громы гражданской войны. Бандитизм, махновщина, догорающие остатки старого мещанства и старой интеллигенции, пафос победы и разрушения…»[23] *Вторая часть* – период первого нэпа: «открытые магазины и витрины. Водка. Заработки рабочих и оздоровление крестьянства. Крестьяне строятся. Крестьянские свадьбы. Пахнет чем-то дореволюционным…». *Фон третьей части*: «Время пра-

[20] Там же.

[21] Там же. С. 21–22.

[22] Ты научила меня плакать… С. 66–67.

[23] *Макаренко А. С.* Педагогическая поэма / Сост., вступ. ст., примеч., коммент. С. Невская. – М.: ИТРК, 2003. С. 686.

вых и левых уклонов и оппозиций. Время новых кризисов и испытаний, время постепенной, медленной гибели от задушья всяких нэпманов и частников, время многоразличной растерянности и непонимания, куда нужно клонить голову и за кого голосовать. Время проявления всякого лакейства и разложения…». *Фон четвертой части*: «лихорадочная перестройка общественных рядов на новый пафос коллективной работы. В расширенном темпе новой стройки вносятся как раз те мотивы, на которых настаивала все время колония. Сюда относятся: коллективное соревнование, большая осведомленность коллектива о своем собственном движении, большой интерес к органическому строению коллектива, большой интерес к роли личности в коллективе и, самое главное, большой подъем и большее требование от личности. Пятилетка и индустриализация отнюдь не должны быть показаны как бессомненные величины. Как раз наоборот, многие персонажи романа могут и должны сомневаться в правильности отдельных деталей. В этой части должно быть больше новых людей, новых строителей, новых энергий и обязательно больше рабочих – все они представляют одну сторону общества, но живой остается и другая сторона – сторона безответственных вредителей-болтунов и слепых человечишек. И совершенно еще не ясно, на чьей стороне окажется победа, но совершенно ясно, что победа будет решена только качеством человеческого состава, и вся последняя часть идет под знаком пересмотра или, по крайней мере, попыток к пересмотру этого состава. Сюда входит и всякая чистка, и новые способы подбора, и новые идеи в экономике человеческого коллектива. В частности, это отражается на спорах о бирже труда, о значении профсоюза и прочее. Болтающие, разумеется, сопротивляются и в самом человеческом пересмотре они тоже принимают участие».[24]

В общем плане к «Педагогической поэме», как в зеркале, отражена десятилетняя история молодой Страны Советов. Но на этом А. С. Макаренко не останавливается. Он дает замечательную *зарисовку развития коллектива*, который был создан силой его мысли и воли. *На фоне первой части* «в таком же хаотическом и несколько глупом порядке образуется колония правонарушителей», «образуются первые скрепы коллектива, главным образом под давлением воли и призыва, под давлением насилия». Постепенно «проглядывают первые движения нового коллектива», появляется «первая человеческая гордость». *На фоне второй части* «крепнет и богатеет, обрастает культурой коллектив колонии, восстановление кончено, мир с селянством, театр. Образование комсомола. Накапливается энергия у ребят. Слава гремит о колонии. Тесно в провинциальном захолустье, подрастают старики, выделяются рабочие, свадьбы, появились рабфаковцы. В колонии не раскол, а живое разделение на омещанившихся, стремящихся к собственному заработку и сохранивших коллективный пафос общего стремления. Поиск выхода. Мечта, остров, Запорожье, Куряж. Мечты эти не могут быть поняты болтающейся интеллигенцией». На *фоне третьей главы* «внутреннее кипение энергии колонии выливается в ее широком наступлении на море разгильдяйства и грязи, то, что называется трудовым корпусом». «Внутренний пафос колонии растворяется на мелкую борьбу. Внутри себя обессиленная колония встречает удары менее стойко, чем можно было ожидать. Обилие нового анархического народа делает усилия старой части малосостоятельными, но борьба продолжается с упорством. Много всяких посещений, ревизий, сплетен, заседаний. Хозяйственная жизнь колонии идет все же своим порядком, и колония даже пускается на очень рискованные дела. Расширяются мастерские, колония готовится к приему шефа, но в это как раз время ей и наносят последний удар. Начинается отступление основной части и кадров в коммуну ГПУ». *На фоне четвертой* части линия развития коллектива колонии изображается следующим образом: «Так называемый изумрудик продолжает жить здоровой и радостной жизнью, но этот отдых для боевого коллектива уже нужно закончить. Появляются старые члены коллектива, одни из них рабочие, другие заканчивают ВУЗ. У многих из них чешутся руки для

[24] *Макеренко А. С.* Педагогическая поэма. 2003. С. 686–689.

новой большой работы. Работа коммуны освещается широкими производственными планами. Новыми “производственными” идеями в воспитании и старыми привычными симпатиями к веселой дисциплине коллектива. Коммуна должна умереть как временное мобилизационное пристанище коллектива. Роман заканчивается сборами старых и новых членов коллектива, выросшего и оздоровленного… на новую большую и трудную работу. Изумрудик остается на руках младшего коллектива и новых верующих, остается как прекрасное на память».[25]

Вот на такой ноте завершается история развития горьковского коллектива. Однако в общем плане «Поэмы» А. С. Макаренко отмечает еще две темы: развитие лица А. (самого Макаренко) и развития лица Б. (представительница Наркомпроса Галина Стахиевна Салько, с 1935 г. – Макаренко, супруга Антона Семеновича).

В конце общего плана А. С. Макаренко сделал важную пометку, завершающую описание развития лица Б. – самого Макаренко и его музы – Галины Стахиевны: «Развитие этой жизни точно так же характеризуется преобладанием и силой мажорных тонов, презрением к пустомелям и верой в будущего человека и его жизнь… Ее любовь к А. – это не только любовь к мужчине, но и целая система гармонического мироощущения. Вот почему в последней части нет двух жизней, а есть одна сверкающая гармония двух людей, представляющих целое, единственное живое целое, ценное на Земле. Эта мысль о великом значении пары людей есть мысль о новой семье, о новом человеке, о новом элементе человеческого коллектива. Эта мысль должна оттеняться рисунком еще двух-трех человеческих культурных пар, способных понять в каждом своем движении, что счастье людей не должно исключать счастья и благополучия человечества».[26]

Известно, что в «Педагогической поэме» отсутствует личная тема: нет развития лица А. и лица Б. Тем не менее А. С. Макаренко вернулся к этому плану в 1938–1939 гг., когда писал новый роман «Пути поколения», который остался незавершенным. В общем плане педагог отразил главное – свое отношение к рождающемуся новому обществу, которое он олицетворяет с коллективом колонии им. М. Горького, то есть тем самым «изумрудиком» – первым ростком нового гуманного общества. Путь к этому новому обществу, к новому человеку-гражданину лежит долгий и трудный, требующий «глубокого сознания длительности постройки человеческой культуры», «человеческого разума, количества и качества «работающих коллективов», «перестройкой представлений о мире, основанной на неожиданно новой теме ценности личности в ценном коллективе».[27] И что удивительно, Макаренко вручает этот «изумрудик» в руки младшего коллектива как «прекрасное на память». Не есть ли это признание свидетельством того, что время для коммунистического общества еще не наступило?!

А. С. Макаренко самозабвенно, жертвуя отпуском, кратковременным отдыхом, чаще всего урывками между делами, под ребячий гомон, в походах, в поездах, по ночам писал горьковскую историю, историю трудового воспитательного коллектива – первого ростка гуманного общества. Результатом явилось удивительно цельное художественное полотно, своего рода гимн человеческому разуму, воле, уму, доброте!

Появлению в печати «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко обязан А. М. Горькому. Без Алексея Максимовича, его моральной и материальной поддержки, требовательности не появились бы вторая и третья части «Поэмы».

Заочное знакомство колонистов-горьковцев и А. С. Макаренко с А. М. Горьким произошла летом 1925 г.

А. С. Макаренко отправил 8 июля 1925 г. письмо в Италию. Письмо без точного адреса дошло до Алексея Максимовича. Началась заочная дружба колонистов с Горьким. Они души

---

[25] *Макеренко А. С.* Педагогическая поэма. 2003. С. 686–690.

[26] Там же. С. 690.

[27] Там же. С. 689.

не чаяли в своем шефе, считали писателя своим самым большим другом, приглашали в гости, писали искренние письма, почти наизусть знали его произведения. Алексей Максимович тоже знал о них все по их подробным письмам и фотографиям. Так, например, М. П. Хрущ сообщил о трагедии: был убит Кондратьев. Об этом событии колонисты рассказали с такими подробностями, что можно только удивляться, как это письмо (как, впрочем, и другие) могла «дойти» до Горького. А что же пережил Антон Семенович от этой и других трагедий внутри колонии?! Вспоминая тяжелые события того времени, он писал: «Да. Есть еще трагедии в мире и еще очень далеко до ослепительной свободы совершенного человеческого общества… А я должен сделать не паровоз и не консервы, а настоящего советского человека, а наробразовские идеалисты требуют не меньше как «человека-коммуниста». Из чего? Из Аркадия Ужикова? С малых лет Аркадий Ужиков валяется на большой дороге, и все колесницы истории и географии прошлись по нем кованными колесами…» («Педагогическая поэма», часть третья.)

Трагические «события» в колонии совпали с назначением А. С. Макаренко 20 октября 1927 г. на должность заведующего Детской трудовой коммуной им. Ф. Э. Дзержинского ГПУ УССР. 50 мальчиков и 10 девочек из колонии были переведены в коммуну 25–28 декабря. Они стали ядром коллектива дзержинцев. Официально открытие коммуны состоялось 29 декабря – день десятилетия ВЧК-ОГПУ.

Для Макаренко смыслом жизни и главной целью были его воспитанники, борьба за человеческое в каждом из них. Ему в высшей степени были свойственны великая любовь к Человеку, вера в его созидательные силы и оптимизм.

Июнь 1928 г. прошел в колонии под знаком ожидания приезда Горького. А. С. Макаренко сообщал писателю, что и думы, и разговоры, и работа направлены только на то, чтобы Алексей Максимович увидел эту работу и жизнь горьковцев.

Встреча А. С. Макаренко и его воспитанников с А. М. Горьким в макаренковедении освещена подробно. Однако мало кому известно, что до конца своей жизни Алексей Максимович поддерживал педагога-писателя, высоко оценивал его педагогическое подвижничество. Достаточно только перелистать страницы его писем к разным адресатам, чтобы убедиться в этом. Например, 9 апреля 1927 г. он писал жившему в эмиграции Далмату Александровичу Лутохину:

«Под Харьковом существует колония имени Вашего покорного слуги, в ней 350 “социально опасных” подростков, они обладают тысячью десятин земли, у них беркширы, свиньи – 70 ш [тук], 30 коров, – теперь уже больше, птица, овцы, лошади и т. д. Я говорю они обладают, ибо действительными и полными хозяевами колонии являются 24 выборных колониста, начальствующих отрядами: сельскохозяйст [венным], кузнечным и слесарным, портняжным, сапожным, скотоводным и т. д. Есть даже свой оркестр, а капельмейстер – девица, кажется, б [ывшая] воровка. В руках этих 24-х все ключи и вся работа. Вновь присылаемых не спрашивают, за что они осуждены, и о прошлом, вообще, не принято разговаривать, так что оно быстро забывается. Каждый – почти – месяц я получаю 24 письма – в одном пакете – от начальников отрядов, в письмах они мне рассказывают, как у них идет работа, чего они хотят, чего уже достигли. За шесть лет бытия колонии уже десятка два, три колонистов ушли в рабфак, в сельскохоз [яйственные] институты. И вот по этим письмам я вижу, с какой невероятной быстротою развивается наша молодежь, – “подпорченная”, заметьте! Это – удивительно. Руководит колонией такой же героический человек, каков Виктор Ник [олаевич] Сорин “Республики Шкид”. Его фамилия – Макаренко. Изумительной энергии человек».[28]

В роковой для Макаренко 1928 г. А. М. Горький проявил максимум внимания и заботы к его судьбе. В письме П. Н. Крючкову 5 декабря он писал: «Прилагаю мое письмо Погребин-

[28] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким. Академ. издание / Под ред. Г. Хиллига при участии С. С. Невской, Марбург, 1990. С. 152–153.

скому вместе с письмом Макаренко, которое Вы прочитаете. Прошу Вас лично поговорить с П., а если этого мало, попросите Ек. Пав. побеседовать с Г. Г. Ягодой. Разрушением колонии очень огорчен».[29]

С 1928 г. Горький оказывает систематическую помощь Макаренко. Так, 6 декабря он сообщает А. Б. Халатову: «А Куряжская колония имени Горького – разрушается, убрали из нее заведующего, Макаренко, и ребята, которые получше, «разбрелись разно». Инициатором сего прелестного поступка является Украинский соцвос. С изумительной педагогической проницательностью четырем сотням воришек, бродяг, маленьких проституток было заявлено: “Вас эксплуатировали, теперь Вас будут учить”. После этого трудовая дисциплина удалилась ко всем чертям».[30]

22 ноября 1928 г. Макаренко написал Алексею Максимовичу, что почти закончил книгу, которая в художественной форме раскрывает «историю работы и гибели колонии, свою воспитательную систему». Книгу он назвал «Педагогическая поэма» и попросил разрешения посвятить ее Горькому. 6 декабря 1928 г. Алексей Максимович ответил ему: «За предложение посвятить мне Вашу «Педагогическую поэму» сердечно благодарю. Где Вы думаете издать ее? Советую – в Москве. Пошлите рукопись П. П. Крючкову по адресу: Москва, Госиздат. Он Вам устроит печатанье быстро и хорошо. Думаете ли Вы иллюстрировать ее снимками? Это надо бы сделать».[31]

После этого письма Антон Семенович регулярно сообщал писателю о ходе работы над «Поэмой».

Писательская деятельность и работа в коммуне подорвали здоровье А. С. Макаренко. 8 декабря 1932 г. в письме С. А. Калабалину (в «Поэме» Семен Карабанов) – бывшему колонисту и большому другу семьи Макаренко – Галина Стахиевна сообщила о желании приехать с Антоном Семеновичем к нему в Ленинград, где он заведовал колонией, поздравила с Новым 1933 г. и попросила о такой помощи: написать Горькому письмо о болезни Макаренко. Просьба была немедленно выполнена. 30 января 1933 г. Горький написал Макаренко: «… Я, стороною, узнал, что Вы начинаете уставать и что Вам необходим отдых. Собственно говоря – мне самому пора бы догадаться о необходимости для Вас отдыха, ибо я, в некотором роде, шеф Ваш, кое-какие простые вещи должен сам понимать. 12 лет трудились Вы, и результатам трудов нет цены. Да никто и не знает о них, и никто не будет знать, если Вы сами не расскажете. Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический эксперимент Ваш имеет мировое значение, на мой взгляд. Поезжайте куда-нибудь в теплые места и пишите книгу, дорогой друг мой. Я просил, чтоб из Москвы Вам выслали денег… А. Пешков».[32]

Макаренко был удивлен и тронут такой заботой Горького. Антон Семенович так и не узнал о том, что по просьбе Галины Стахиевны его любимец Семен Калабалин обратился к Горькому с просьбой о помощи для своего Учителя.

В письме П. П. Крючкову от 28 июля 1933 г. Макаренко сообщил о своем трудном положении и желании найти работу в Москве: «Деньги Алексея Максимовича, которые я получил от Вас, лежат у меня на моей совести, и я по-прежнему буквально падаю в этой каторжной работе и конца ей не вижу. День и ночь, без вечеров для отдыха, без выходных дней, часто без перерыва на обед, все это можно выносить, если работа дает результаты. Но время создавания результатов уже минуло. Совершенно исключительный коллектив коммунаров Дзержинского сейчас сделался предметом потребления в самых разнообразных формах: то для создания капитала, то для производственного эффекта в порядке приложения разнообразного самодур-

[29] Архив Горького, ПГ-рл 21а—1—148.

[30] Там же. ПГ-рл-48—15–26.

[31] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким… 1990. С. 66.

[32] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким… 1990. С. 75.

ства, то в виде неумных и вредных опытов. Вся моя энергия уходит на мелкие заплаты и нечеловеческие усилия сохранить хотя бы внешнюю стройность. Вы не подумайте чего: я ни с кем не ссорюсь и все мною даже довольны. Но я больше не могу растрачивать себя на пустую работу, и у меня иссякают последние силы, а самое главное, я терплю последние надежды подытожить свой опыт и написать ту книгу, необходимость которой утверждает Алексей Максимович.

Я могу отсюда уйти, но меня тащат в новые коммуны, я сейчас не в силах за них бороться, я четырнадцать лет без отдыха, отпуска. И вот я к Вам с поклоном: дайте мне работу в одном из Ваших издательств или нечто подобное. Мне нужно побывать среди культурных людей, среди книг, чтобы я мог восстановить свое человеческое лицо – а тут я могу просто запсиховать. Имейте в виду, что я человек очень работоспособный и Вы будете мною довольны, тем более, что и характер у меня хороший.

Я в начале сентября приеду в Москву, но очень прошу сейчас ответить, можете ли Вы мне помочь? Если не можете, буду искать других выходов. P.S. В Сочи буду с коммуной до 13 августа».[33]

25 августа Антон Семенович писал Горькому: «Получил Ваше письмо. Поверьте, нет в моем запасе таких выразительных слов, при помощи которых я смог бы благодарить Вас. Если я вырвусь из моей каторги, я всю свою оставшуюся жизнь отдам для того, чтобы другим людям можно было вести воспитательную работу не в порядке каторги. Это очень печально: для того, чтобы воспитать человека, нужно забыть, что ты тоже человек и имеешь право на совершенствование и себя и своей работы.

Отсюда вырваться без Вашей помощи мне не удалось бы никогда.

Сейчас я выпустил 45 человек в вузы, и для моей совести сейчас легче расстаться с коллективом. Вырваться от начальства гораздо труднее, оно очень привыкло к безграничной щедрости, с которой здесь я растрачивал свои силы, растрачивал при этом не столько на дело, сколько на преодоление самых разнообразных предрассудков…».[34]

А. С. Макаренко получил двухмесячный отпуск и в сентябре 1933 г. поехал в Москву, куда позже приедет и Галина Стахиевна – сразу же после лечения от туберкулеза горла в санатории.

В Москве состоялась встреча Макаренко с Алексеем Максимовичем. Горький прочитал «Педагогическую поэму» (первую часть) и дал положительный отзыв.

В начале 1934 г. первая часть увидела свет в альманахе «Год XVII», кн. 3 (год указали 1933); а вторая и третья части в альманахе «Год XVIII», кн. 5 и кн. 8 – в 1935 г. (в это время Антона Семеновича перевели на работу в Киев в качестве заместителя начальника трудовых колоний НКВД Украины).

По словам А. С. Макаренко, вторую, а затем третью части «Поэмы» он писал в 1934–1935 г.

В письме Горькому от 7 марта 1934 г. Антон Семенович признается: «Благодаря вашему вниманию, поддержке, а может быть, и защите моя “Педагогическая поэма” увидела свет… Для меня выход “Поэмы” – важнейшее событие в жизни… И меня очень затрудняет вопрос о том, что дальше делать с поэмой? Следует ли добиваться отдельного издания первой части, или она не стоит того, чтобы ее отдельно издавать? Отдельное издание меня интересует больше всего потому, что можно будет восстановить несколько глав и отдельных мест (всего около 4-х печатных листов), не напечатанных в альманахе за недостатком места; мне, как, вероятно, и каждому автору, кажется, что места эти очень хороши и очень нужны, что без них “Поэма” много в своей цельности теряет.

---

[33] Архив Горького. Кк-рл—10—2–8.

[34] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким… 1990. С. 75.

Писать ли вторую часть или не стоит?.. Материал для второй части у меня как будто богатый. Это лучшее время горьковской колонии. В первой части я пытался изобразить, как складывается коллектив, во второй части хочу описать сильное движение развернутого коллектива, завоевания Куряжа.

Вторая часть для меня труднее, чем первая. Я не представляю себе, как я справлюсь с такой трудной задачей: описывать целый коллектив и в то же время не растерять отдельных людей, не притушить их яркости. Одним словом, боюсь.

Не знаю также, уместно ли разбавлять повествование теоретическими отступлениями по вопросам, у меня есть такой зуд, – хорошо ли это?

И еще одно затруднение. Ваш приезд – это кульминационный пункт развития коллектива горьковцев, но это и его конец. До Вашего еще приезда мне удалось спасти 60 человек в коммуне Дзержинского. Эти 60 человек и продолжают традиции горьковцев уже на новом месте…».[35]

14 марта Горький сообщает Антону Семеновичу, что рукопись «Поэмы» сокращена по недоразумению – «недосмотрел». И предупреждает: «Очень огорчен тем, что Вы еще не принимались работать над второй частью, и очень Вас прошу: начинайте! Первая часть хорошо удалась Вам, все, кто читал ее, читали с наслаждением и все говорят: нет конца?»[36]

До конца своей жизни А. М. Горький поддерживает А. С. Макаренко. Петр Петрович Крючков – секретарь писателя – также оказывает немалую услугу Макаренко.

7 марта 1934 г. Антон Семенович пишет благодарственное письмо Крючкову: «Недавно получил альманах “Год XVII”. Я очень много обязан Вам в том, что моя “поэма” вышла в печати, к сожалению, не имею возможности лично поблагодарить Вас. В конце октября я заходил к Вам, но узнал, что Вы уехали в Крым, а через два дня меня вызвала коммуна в Харьков. Вторую часть “Педагогической поэмы” не начал и не знаю, когда и начну: коммуна не оставляет ни времени, ни души для литературной работы.

Нужно сейчас побывать в Москве, как-нибудь кончить дело с “поэмой”. Мне очень жаль, что из-за недостатка мест в альманахе выбросили несколько глав, по моему мнению, ценных. Говорили тогда в редакции альманаха, что эти главы будут восстановлены в отдельном издании, а я до такой степени провинциал, что толком даже не знаю, кто это будет заниматься отдельным изданием, или это я сам должен кому-то сказать об этом. А может быть, это неудобно?

На днях в Москве будет тов. Салько, моя жена, я поручил ей зайти к Вам посоветоваться. Очень прошу Вас принять ее и помочь мне как-нибудь в литературных вопросах».

В следующем письме к П. П. Крючкову Антон Семенович информирует о своих делах: «Получил письмо от Алексея Максимовича, в котором он требует, чтобы я приступил ко второй части «Педагогической поэмы». Как ни нагружен мой день, приступил, приходится работать ночью, боюсь за качество. Алексей Максимович пишет еще, что нужно издавать отдельное издание и что в этом деле поможете Вы. Простите, что я причиняю Вам столько хлопот…»[37]

А. М. Горький не оставляет в покое Макаренко. В своих письмах (1934 г.) отмечает: «… Огорчен тем, что вторая часть “Педагогической поэмы” Вашей подвигается медленно. Мне кажется, что Вы недостаточно правильно оцениваете значение этого труда, который должен оправдать и укрепить Ваш метод воспитания детей».[38]

Антон Семенович оправдывается:

«О второй части у меня нет ясного представления: то она кажется мне очень хорошей, то чрезвычайно слабой, ничего не стоящей. Писал я ее в ужасных условиях, во время большой

[35] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким… 1990. С. 77–79.

[36] Там же. С. 80.

[37] Архив Горького. Кк-рп 10—2–5.

[38] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким… 1990. С. 83–84.

напряженной работы в коммуне, в летнем походе коммунаров: в вагоне, на улицах городов, в передышках между торжественными маршами… Я постарался вычеркнуть все то, что бросается в глаза… но как-нибудь основательно переделать всю часть я уже потому не могу, что вся она построена по особому принципу, который я считаю правильным, но который, вероятно, плохо отобразил в своей работе над книгой.

Я очень прошу Вашего внимания к следующему:

Моя педагогическая вера: педагогика – вещь, прежде всего, диалектическая – не может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических мер или систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоятельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным…

В первой части «ПП» я хотел показать, как я, неопытный и даже ошибающийся, создавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Это мне удалось благодаря основной установке: коллектив должен быть живой и создавать его могут настоящие живые люди, которые в своем напряжении и сами переделываются.

Во второй части я сознательно не ставил перед собою темы переделки человека. Переделка одного, отдельного человека, обособленного индивида, мне представляется темой второстепенной, так как нам нужно массовое новое воспитание. Во второй части я задался целью изобразить главный инструмент воспитания, коллектив, и показать диалектичность его развития…

В третьей части я этот коллектив хочу показать в действии: в массовой переделке уже не отдельных личностей, а в массе – триста куряжан… В третьей же части я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц в НКП. Во второй части я хотел показать только первые предчувствия, первые дыхания борьбы. Нападение НКП на мою работу было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности коллектива горьковцев в Куряже.

В третьей же части я хочу показать, как здоровый коллектив легко размножается «почкованием» (дзержинцы). Это моя схема…».[39]

26 января 1935 г. Макаренко сообщает Горькому: «… Начал третью часть “Педагогической поэмы”, которую надеюсь представить к альманаху седьмому. Очень хочу, чтобы третья часть вышла самой лучшей…».[40]

К концу сентября 1935 г. А. С. Макаренко закончил работу над третьей частью «Поэмы». Последними письмами Макаренко и Горький обменялись в сентябре – октябре 1935 года.

28 сентября Антон Семенович информирует Алексея Максимовича, что авиапочтой выслал третью часть «Поэмы»:

«Не знаю, конечно, какой она получилась, но писал ее с большим волнением.

Как Вы пожелали в Вашем письме по поводу второй части, я усилил все темы педагогического расхождения с Наркомпросом, это прибавило к основной теме много перцу, но главный оптимистический тон я сохранил.

Описать Ваше пребывание в Куряже я не решился, это значило бы описывать Вас, для этого у меня не хватало совершенно необходимого для этого дела профессионального нахальства. Как и мои колонисты, я люблю Вас слишком застенчиво.

Третью часть пришлось писать в тяжелых условиях, меня перевели в Киев помощником начальника Отдела трудовых колоний НКВД…

Работа у меня сейчас бюрократическая, для меня непривычная и неприятная, по хлопцам скучаю страшно. Меня вырвали из коммуны в июне, даже не попрощался с ребятами.

Дорогой Алексей Максимович! Большая и непривычная для меня работа «Педагогическая поэма» окончена. Не нахожу слов и не соберу чувств, чтобы благодарить Вас, потому что

[39] Там же. С. 85–88.

[40] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким… 1990. С. 89–90.

вся эта книга исключительно дело Вашего внимания и любви к людям. Без Вашего нажима и прямо невиданной энергии помощи я никогда этой книжки не написал бы…

У меня сейчас странное ощущение. Работа окончена, но остались уже кое-какие навыки письма, кое-какая техника, привычка, к этой совершенно особенной, волнующей работе.

А в то же время я вдруг опустошился, как будто всю свою жизнь до конца выложил, нечего больше сказать.

Я очень хочу надеяться, что Вы не бросите меня в этой неожиданной пустоте…».[41]

Ответ А. М. Горького был замечательным:

«Дорогой Антон Семенович – третья часть “Поэмы” кажется мне еще более ценной, чем первые две.

С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжцами, да и вообще очень многое дьявольски волновало. «Соцвосовцев» Вы изобразили так, как и следует, главы: “У подошвы Олимпа” и “Помогите мальчику” – нельзя исключить.

Хорошую вы себе “душу” нажили, отлично, умело она любит и ненавидит…

Если Вас тяготит “бюрократическая” работа и Вы хотели бы освободиться от нее – давайте хлопотать. Я могу написать т. Б. или П. П. Постышеву, могу просить Ягоду, чтоб Вас возвратили к ребятам. Ну – что же? Поздравляю Вас с хорошей книгой, горячо поздравляю…»[42]

Это последнее письмо Горького к Макаренко было написано в Тессели, где в то время он жил и лечился. Письмо без даты, но условно можно указать 8 октября 1935 года.

25 октября Алексей Максимович написал благодарное письмо редактору «Поэмы» Елене Марковне Коростелевой: «Уважаемая Елена Марковна – разрешите сердечно благодарить вас за работу по чтению и правке рукописи Макаренко. Меня так утомляет чтение рукописи, что я все хуже вижу ошибки авторов. Я очень рад, что Вы так удачно почистили высокоценную работу Макаренко, и усердно прошу Вас исправить нелепости текста, отмеченные Вами. Сам я, не имея рукописи пред глазами, мог только выбросить подчеркнутое Вашей рукою, а это едва ли правильно. Будьте здоровы и еще раз – спасибо. М. Горький».[43]

А. М. Горький умер 18 июня 1936 года. В 1938 г. не стало П. П. Крючкова и М. С. Погребинского – людей, которые по просьбе Алексея Максимовича помогали Антону Семеновичу Макаренко. История создания «Педагогической поэмы» подошла к концу.

* * *

При жизни А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» издавалась по частям в горьковском альманахе, а также отдельными изданиями, в том числе и на украинском языке. После смерти педагога «Поэма» была опубликована в 1-м томе первого (1950–1952) и второго (1957–1958) Академических Собраний сочинений А. С. Макаренко в 7 томах. Во всех публикациях «Поэма» подвергалась цензурным и редакторским сокращениям и изменениям текста.

В 2003 г. читатель впервые смог прочитать педагогический роман-поэму в восстановленном виде.[44] Основой для восстановления текста послужило издание «Педагогической поэмы» во втором семитомном академическом издании сочинений А. С. Макаренко (1957–1958 гг.), по которому в течение полувека переиздавалась «Поэма» и по которому она вошла в третий том Педагогических сочинений А. С. Макаренко в 8 томах (1983–1986 гг.).

---

[41] Там же. С. 93–95.

[42] Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким… 1990. С. 95–96.

[43] Архив Горького. Пг-рл 20—9–1.

[44] *Макаренко А. С.* Педагогическая поэма» / Сост., вступ. ст., примеч., коммент. С. Невская. М.: ИТРК, 2003.

В заключение приведем первый отклик прессы на новое издание «Поэмы» (2003 г.). В 2012 г. в 10-м номере журнала «Нарконет» Лина Тархова опубликовала следующую статью-интервью с составителем.

«В нашей редакционной библиотеке появилась новая книга – “Педагогическая поэма” А. С. Макаренко. Почему мы рассказываем об этом читателям? Что это за событие – выход очередного издания известной книги?

Но это именно событие. Впервые педагогический бестселлер, как назвали бы его сегодня, издан без купюр. Увидев этот том, вы бы не узнали в нем “Поэму”: та, всем привычная, не толстая и не тонкая книга среднего объема. Этот том с трудом удерживаешь в руках, так он велик.

Неужели Макаренко, несмотря на мировую известность (его книги переведены на большинство существующих языков, только в США к 1990 г. вышло восемь изданий, в Испании – семь), урезали, сокращали, подвергали жесткой цензуре?

Принято считать, что советская власть Макаренко оценила, воздала ему должное. Однако отношения с властью великого педагога, который честно писал в автобиографии: “Политические убеждения – беспартийный”, были непростыми. Человек, сумевший сотни беспризорников, воришек и бродяг воспитать достойными гражданами, не укладывался в габариты, очерченные “педагогическим Олимпом”, как он это называл.

Чиновники “народного образования” откровенно боялись его независимости в работе, смелости и размаха. Однако замолчать педагогический подвиг Макаренко было невозможно. Власть поступила с ним хуже – превратила в идола. Интерес к живому человеку, его идеям угас. “Педагогическая поэма” продолжала издаваться, но – примечательная подробность – каждый раз с новыми сокращениями. У каждого издателя были свои страхи по отношению к Макаренко.

Реконструкция полного текста длилась много лет. В новом издании восстановленные купюры выделены курсивом. Проделана огромная, тончайшая работа. Рассказать о ней мы попросили человека, без которого эта книга, скорее всего, не увидела бы света: доктора педагогических наук, ведущего научного сотрудника Института семьи и воспитания РАО Светлану Сергеевну Невскую.

Работа была завершена не благодаря, а вопреки всем обстоятельствам – и организационным, и материальным. Институт, в котором работает Невская, без конца реформируется, меняет названия и направления, и сегодня его судьба внушает тревогу. Только чувство ответственности, свойственное истинному ученому, могло дать силы довести многолетнюю работу до финала. Невская – составитель, автор вступительной статьи, примечаний и комментариев.

– Светлана Сергеевна, насколько интересной для вас была эта работа?

– Даже для меня, макаренковеда, одним из главных открытий в ней был масштаб личности Макаренко, о котором большинство имеет очень узкое представление. Макаренко мы не понимаем, в первую очередь оттого, что не знаем. Чтобы понять, нужно до этой вершины дорасти. Смотрите – в 17 лет он стал учителем и всю жизнь учился. Великолепно знал педагогов прошлого – Песталоцци, Руссо, Ушинского… В подлинниках, а не в изложении прочитал Ключевского, Костомарова, Соловьева, Петражицкого. Знал историю, социологию. Писал в автобиографии: прочитал все, что есть на русском языке по психологии.

Это был, пользуясь выражением Горького, человечище. Не знаю, что с ним стало бы, если бы он не умер в 1939 г… На грустные мысли наводит судьба его приемного сына Льва Салько. Он работал в ЦАГИ. Однажды познакомился с молодыми сотрудницами посольства США, и это в дальнейшем, после войны, стоило ему работы и званий. А он был герой, вынес знамя своей части, выходя из окружения. Но кто-то не забыл о неосторожном знакомстве. Салько

запретили работать по профессии. Его спасло то, что в колонии Макаренко он получил третий разряд токаря – токарем и стал работать. Умер молодым, не дожив до пятидесяти лет.

– Как велась работа над реконструкцией полного текста?

– В 1981 г. была создана группа по восстановлению всех текстов Макаренко по архивным и прижизненным источникам.[45] Возглавить группу предложили мне. Однако молодые сотрудники категорически отказывались от подобной работы. Возможно, слишком много времени требовала работа в архивах. Все годы моим единственным помощником по работе в архивах был молодой талантливый сотрудник лаборатории теории и методов воспитания, которого даже не освободили от текущей работы в лаборатории.

За основу мы взяли издание «Педагогической поэмы» 1957 г., считавшееся каноническим. Это был контрольный вариант. А дальше были подняты все сохранившиеся рукописи, рабочие документы. Работали по расклейке. Чтобы не запутаться в огромном количестве материалов, была создана специальная знаковая система. Каждый восстанавливаемый фрагмент перепроверялся по всем источникам.

Но, разумеется, эту огромную работу не смогла бы проделать только специально назначенная группа. Неоценимую помощь оказали нам ученые, уже ушедшие из жизни. Это профессор, доктор педагогических наук Игорь Александрович Невский, который высоко оценивал педагогический и человеческий подвиг Макаренко и предлагал создать международную научную лабораторию по изучению методов А. С. Макаренко. Это тогдашний президент Академии педагогических наук СССР Михаил Иванович Кондаков, главный редактор восьмитомного издания произведений Макаренко. Это академик, доктор психологических наук Василий Васильевич Давыдов, который планировал создать лабораторию по изучению наследия Макаренко в РАО.

– Существует ли сейчас ваша группа? Ведь ее задача была восстановить все тексты Макаренко?

– В ней осталась я одна. Огромное количество архивных документов лежит в разных точках Москвы, самое ценное – у меня дома.

– То, что вы сделали, вызывает восхищение.

– Эта работа – настоящая отрава. Если не любишь, не сделаешь. А надо. Сегодня ни учителя, ни студенты не хотят читать Ушинского, Макаренко, и от этого страдает наше образование.

Мне хочется полностью издать «Флаги на башне», что-то еще. Хочется вернуть Макаренко в жизнь.

А теперь – кое-что из вычеркнутого и впервые восстановленного. Комментарии, что называется, излишни.

(…) *«В то самое время, когда мы мучительно искали истину и когда мы уже видели первые взмахи нового здорового хозяина-колониста, худосочный инспектор из наробраза ослепшими от чтения глазами водил по блокноту и, заикаясь, спрашивал колонистов:*

– А вам объясняли, как нужно поступать?

И в ответ на молчание смущенных колонистов что-то радостно черкнул в блокноте. И через неделю прислал нам свое беспристрастное заключение:"Воспитанники работают хорошо и интересуются колонией. К сожалению, администрация колонии, уделяя много внимания хозяйству, педагогической работой не занимается. Воспитательная работа среди воспитанников не ведется".

[45] Речь идет о работе над Педагогическими сочинениями А. С. Макаренко в 8 томах (1983–1986). По требованию редакции тексты художественных произведений публиковали по изданию 1957 г.

Ведь это теперь я могу так спокойно вспомнить худосочного инспектора. А тогда приведенное заключение меня очень смутило… Я снова приступил к раздумью, к пристальным тончайшим наблюдениям, к анализу.

Жизнь нашей колонии представляла очень сложное переплетение двух стихий: с одной стороны, по мере того как развивалась колония и вырастал коллектив колонистов, родились и росли новые общественно-производственные мотивации, постепенно сквозь старую и привычную для нас физиономию урки и анархиста-беспризорника начинало проглядывать новое лицо будущего хозяина жизни; с другой стороны, мы всегда принимали новых людей, иногда чрезвычайно гнилых, иногда даже безнадежно гнилых…

Очень нередко эти пагубные влияния захватывали целую группу колонистов, чаще же бывало, что в линию развития того или другого мальчика – линию правильную и желательную – со стороны новых влияний вносились некоторые поправки. Основная линия продолжала свое развитие в прежнем направлении, но она уже не шла четко и спокойно, а все время колебалась и обращалась в сложную ломаную. Нужно было иметь много терпения и оптимистической перспективы, чтобы продолжать верить в успех найденной схемы, и не падать духом, и не сворачивать в сторону.

Дело еще и в том, что в новой революционной обстановке мы тем не менее находились под постоянным давлением старых, привычных выражений так называемого общественного мнения. И в наробразе, и в городе, и в самой колонии общие разговоры о коллективе и о коллективном воспитании позволяли в частном случае забывать именно о коллективе. На проступок отдельной личности набрасывались, как на совершенно уединенное и прежде всего индивидуальное явление, встречали этот проступок либо в колорите полной истерики, либо в стиле рождественского мальчика…

Нет, товарищ инспектор, история наша будет продолжаться в прежнем направлении. Будет продолжаться, может быть, мучительно и коряво, но это только оттого, что у нас нет еще педагогической техники. Остановка только за техникой».

«Чайкин ёрзнул на стуле и прохрипел:

– Интересно, конечно, как всякое высказывание в педагогике. Наша область такая, знаете, широкая, такая еще не разработанная, что всякая мысль интересна. Но для нас важно, в каком отношении все это стоит к принципам социального воспитания.

Я знал, что он разумел под принципами социального воспитания: это были его собственные измышления в написанной им брошюрке.

– Об этом мы потом поговорим, – сказала Брейгель. – Я думаю, очень возможно – ваша система советская, но в таком случае все то, что мы там у себя думаем, никуда не годится. Вы понимаете, может быть, вы правы, а мы ошиблись?

Она смотрела на меня откровенно с насмешкой. Я ей ответил:

– Это не только возможно, это и есть на самом деле. Вы там у себя многое путаете.

– Допустим, – великодушно согласилась Брейгель. – Все это нужно рассмотреть при свете принципов социального воспитания. Здесь, конечно, мы этого делать не будем, для этого есть научпедком».

«Колония богатела, в ней рос коллектив, росли стремления, росли возможности и, самое главное, росло знание наше и наше техническое умение. Но мы были запакованы в узкие железные рамки и над нами всегда стоял Некто в сером, замахивался на нас палкой и вопил, что мы совершаем преступление, если на полсантиметра высунем нос за пределы рамки. Некто в сером назывался иначе – финотделом… Это был сущий сказочный Кощей – сухой, худой, злобный и, кроме того, принципиально бессмертный… Больше всего боясь партизанского вло-

жения его капиталов в настоящее дело, Кощей Бессмертный выдавал нам деньги полумесячными долями, и его зеленые глаза торчали над каждым нашим карманом:

– Как же это? – скрипел он. – Как же вы допускаете такое своеволие: вам дано сто пятнадцать рублей на обмундирование, а вы купили на них какие-то доски?..

– Товарищ Кощей, с обмундированием мы можем подождать, а доски – это материал, мы из него сделаем вещи, продадим и будем иметь прибыль, потому что в доски мы вложили труд, и труд будет оплачен…

– Вы не можете истратить больше, чем вам разрешено. Вам разрешено двадцать семь рублей в год на человека. Если вы получите прибыль, мы все равно сократим вашу смету.

Великий ученый и мыслитель Чарльз Дарвин! Он был бы еще более великим, если бы наблюдал нас. Он бы увидел совершенно исключительные формы приспособления, мимикрии, защитной окраски, поедания слабейших, естественного отбора и прочих явлений настоящей биологии. Он бы увидел, с какой гениальной приспособляемостью мы все-таки покупали доски и делали кое-что, как быстро и биологически совершенно мы все-таки обращали сто пятнадцать рублей в триста и покупали поэтому не бумажные костюмы, а суконные… Потом… дождавшись очередной сутолоки у Кощея Бессмертного… затаив дыхание, слушали кощеевские громы, угрозы начетами и уголовной ответственности…

Заведующий колонией вообще существо недолговечное… Очень немногие выживали и продолжали ползать на соцвосовских листьях, но и из них большинство предпочитали своевременно окуклиться и выйти из кокона нарядной и легкомысленной бабочкой в образе инспектора или инструктора. А таких, как я, были сущие единицы…»

«Колонисты с большой охотой пошли на производственную работу… Нам запрещалась зарплата, но и в этом вопросе мы обходили камни идеализма и тоже приспособились… В колонии завелись деньги в таком количестве, что мы получили возможность не окрашиваться в зеленый, защитный, цвет и не прятаться в листве. Мы пошли по другой биологической линии: сделались пухлой, яркой гусеницей, по всем признакам настолько ядовитой и вредной, что, увидев нас, сам Кощей Бессмертный остановился бы пораженный, чихнул, взъерошился и, отлетев в сторону, подумал бы:

– Стоит ли трогать эту гадость? Проглотишь, сам не рад будешь. Лучше я клюну вот эту богодуховскую колонию».

P. S. Прочитав эти тексты, понимаешь, за что не любила и почему боялась Макаренко власть. Книга, о которой мы рассказали, вышла в 2003 г. Пресса обычно пишет о новых изданиях. Но так получилось, что Большая книга дошла до нас, до редакции, только сейчас. А главное, она, судя по нашим наблюдениям, не дошла до своего главного читателя – педагогов, воспитателей, родителей. Это неправильно. И мы решили хотя бы частично ситуацию поправить».[46]

В настоящем издании восстановленные тексты выделены курсивом. В книге впервые печатается фотоочерк «Страницы жизни и педагогической деятельности А. С. Макаренко (1888–1939)».

С. С. Невская

[46] Тархова Л. Неизестный Макаренко // Нарконет. Октябрь. № 10. 2012. С. 47–50.

Часть первая

[1] Разговор с завгубнаробразом

В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом[47] вызвал меня к себе и сказал:

– Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно… вот что твоей школе[48] дали это самое… губсовнархоз…

– Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься, – взвоешь: какая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это похоже на школу?

– Да… Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое, и столы не такие. Нету у вас этого самого вот… огня, знаешь, такого – революционного. Штаны у вас навыпуск!

– У меня как раз не навыпуск.

– Ну, у тебя не навыпуск… Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек – по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское… Ну?

– А что – «ну»?

– Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю – руками и ногами: зарежут, говорят, вам бы это кабинетик, книжечки… Очки вон надел.

Я рассмеялся:

– Смотрите, уже и очки помешали!

– Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, так вы это самое: зарежет меня живой человек. Интеллигенты!

Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими черными глазами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию. Но ведь он был не прав, этот завгубнаробразом.

– Вот послушайте меня…

– Ну, что «послушайте», что «послушайте»? Ну, что ты можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое… как в Америке! Я недавно по этому случаю книжонку прочитал, – подсунули. Реформаторы… или как там, стой!.. Ага! Реформаториумы.[49] Ну, так этого у нас еще нет.

– Нет, вы послушайте меня.

– Ну, слушаю.

– Ведь и до революции с этими босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников…

– Это не то, знаешь… До революции это не то.

– Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать.

– По-новому, это ты верно.

– А никто не знает – как.

– И ты не знаешь?

---

[47] *Губнаробраз* – Губернский отдел народного образования.

[48] Речь идет о втором городском начальном училище им. Куракина в г. Полтаве (школа размещалась в здании губернского отдела народного хозяйства на Соборной площади, 10; занятия проходили во второй половине дня), которым заведовал А. С. Макаренко с августа 1919 г. до перехода на работу в колонию в Трибах.

[49] *Реформаторумы* – детские тюрьмы, учреждения для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей.

– И я не знаю.

– А вот у меня это самое… есть такие в губнаробразе, которые знают…

– А за дело браться не хотят.

– Не хотят, сволочи, это ты верно.

– А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.

– Скажут, стервы, это ты верно.

– А вы им поверите, а не мне.

– Не поверю им, скажу: было б самим браться!

– Ну, а если я и в самом деле напутаю?

Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу:

– Да что ты мне: напутаю, напутаю!.. Ну, и напутаешь. Чего ты от меня хочешь? Что я, не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое… не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание[50]… Нам нужен такой человек вот… наш человек! Ты его сделай. Все равно, всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо.

– А место есть? Здания все-таки нужны.

– Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко – верст шесть. Хорошо там: лес, поле, коров разведешь…

– А люди?

– А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомобиль дать?

– Деньги?..

– Деньги есть. Вот получи.

Он из ящика стола достал пачку.

– Сто пятьдесят миллионов.[51] Это тебе на всякую организацию. Ремонт там, мебелишка какая нужна…

– И на коров?

– С коровами подождешь, там стекол нет. А на год смету составишь.

– Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше.

– Я уже смотрел… что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай – и все.

– Ну, добре, – сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для меня не было.

– Вот это молодец! – сказал завгубнаробразом. – Действуй! Дело святое!

[50] *Социальное воспитание* (Соцвос) – имеется в виду концепция общественного воспитания для всех детей.

[51] *Сто пятьдесят миллионов* – имеются в виду денежные знаки 1920 г.

[2] Бесславное начало колонии имени Горького

В шести километрах от Полтавы на песчаных холмах – гектаров двести соснового леса, а по краю леса – большак на Харьков, скучно поблескивающий чистеньким булыжником.

В лесу поляна гектаров в сорок. В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонарушителей.

Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенных крыши. Вот и все.

До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневниках, главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные унтер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом воспитанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью. Внешним ее выражением был такой простой снаряд, как палка.

Материальные следы старой колонии были еще незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые каморами и клунями, все то, что могло быть выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего, напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не высажены гневным топором, а похозяйски сняты с петель, печи разобраны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на месте.

– Почему шкаф остался? – спросил я соседа, Луку Семеновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев.

– Так что, значится, можно сказать, что шкафик етой нашим людям без надобности. Разобрать его, – сами ж видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдёт – и по высокости, и поперек себя тоже.

В сараях по углам было свалено много всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось возвратить кое-какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, *падающих в обморок при одной мысли о столярной работе, и так* еле на ногах державшихся, конь – мерин, когда-то бывший киргизом, в возрасте тридцати лет, и медный колокол.

В колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом:

– Вы будете заведующий педагогической частью?

Скоро я установил, что Калина Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно.

– Вы будете заведующий педакокической частью?

– Почему? Я заведующий колонией…

– Нет, – сказал он, вынув изо рта трубку, – вы будете заведующий педакокической частью, а я – заведующий хозяйственной частью.

Представьте себе врубелевского «Пана»,[52] совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по-архиерейски. В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведывание хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвардии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведывал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев.

Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого разговора:

– Как же так, товарищ Сердюк, не может же быть без заведующего колония? Кто-нибудь должен отвечать за все.

Калина Иванович снова вынул трубку и вежливо склонился к моему лицу:

– Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам в некотором роде подчинялся?

– Нет, это не обязательно. Давайте, я вам буду подчиняться.

– Я педакокике не обучался, что не мое, то не мое. Вы еще молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией – так, знаете, для этого ж я еще малограмотный, да и зачем это мне…

Калина Иванович неблагосклонно отошел от меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали:

– Я вам здеся поставив столик и кроватку, какие нашлись…

– Спасибо.

– Я думав, думав, как нам быть с этой самой колонией. И решив, что вам, конешно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы подчиняться.

– Помиримся, Калина Иванович.

– Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки леплять, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек грамотный, будете как бы заведующим.

Мы приступили к работе. При помощи «дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно предоставленной нам соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период.

Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача – концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ, а я никак не мог примириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз.

В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов кое-как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии: вставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной[53] сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло «сконцентрировать».

---

[52] *Пан* – в греческой мифологии бог лугов, полей, покровитель пастухов, охотников и рыболовов. А. С. Макаренко имеет в виду картину *М. А. Врубеля* (1856–1910) с изображением Пана, написанную художником в 1899 г. («Пан»).

[53] Речь идет об особой продовольственной комиссии по снабжению Первой запасной армии во время Гражданской войны.

Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объявить организационный период законченным. Калина Иванович согласился с моей точкой зрения:

– Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делают? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромец…

– Илья Муромец?

– Ну да. Был такой – Илья Муромец, – может, ты чув, – так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил.

– Ну что же, будем, как Илья Муромец, это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник?

– Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь.

* * *

Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию нового человека в нашем лесу – все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлись два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил.

Лидия Петровна была очень молода – девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение:

– Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает.

– Да я именно такую и искал. Видите ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка – чистейшее существо, я рассчитываю на нее вроде как на прививку.

– Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо…

Зато Екатерина Григорьевна была матерый педагогический волк. Она ненамного раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к ее плечу, как ребенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьезном красивом лице прямились почти мужские черные брови. Она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею:

– С такой женщиной нужно очень осторожно поступать…

Итак, все было готово.

Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцати лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец.

Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зеленого бархата.

Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались, с ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки – «дачки», покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашеные двери и окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому-то из товарищей:

– Через тебя влипли в эту бузу!

Остаток дня мы посвятили планированию нашей дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения, – только бы скорее от меня отделаться.

А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала:

– Я не знаю, как с ними разговаривать… Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой – с прической, надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги!»

В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь моему проникновенному соцвосовскому[54] выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершенное ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех спрашивать:

– Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил?..

Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови:

– Не знаю, Антон Семенович, серьезно, не знаю… Может быть, нужно просто уехать… Я не знаю, какой тон здесь возможен…

Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, – все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.

Длинными зимними вечерами в колонии было жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна – в спальне, другая – в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы» – изобретение времен Кия, Щека и Хорива.[55] В моей лампочке верхняя часть стекла была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович, закуривая свою трубку, пользовался часто огнем моей лампы, просовывая для этого в стекло половину газеты.

В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал:

– Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападет. Понимаете?

Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о моем существовании. Задоров был из интеллигентной семьи – это было видно сразу. Он правильно говорил, его лицо отличалось той молодой холеностью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза, все это с особенной мясистой подвижностью, – лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в такой позе:

– Ну, сказали ж вам…

---

[54] *Соцвосовский* – речь идет о «выговоре» (проникновенной речи), типичном для сотрудников соцвоса (социальное воспитание).

[55] Речь идет о *Кие*, первом легендарном правителе г. Киева, и его братьях *Щеке* и *Хориве*. По преданию, они основали город.

Я вышел из спальни, обратив свой гнев в какой-то тяжелый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашел к Калине Ивановичу:

– Пойдем снег чистить.

– Что ты! Что ж, я сюда черноробом наймался? А эти что? – кивнул он на спальни. – Соловьи-разбойники?

– Не хотят.

– Ах, паразиты! Ну, пойдем!

Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город.

– Вот хорошо! – сказал весело Таранец.

– Давно бы так, – поддержал Волохов.

Калина Иванович загородил им дорогу:

– То есть как это – «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой…

Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка – в другую сторону, и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули:

– Придется самому за лопатой полазить!

Со смехом они ушли в город.

– Уеду отседова к черту! Чтоб я тут работал! – сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в сугробе.

Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали:

– Рятуйте!..[56]

Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими голосами просили помощи.

Я выпросил у завгубнаробразом наган для защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я еще не терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками.

Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения, – они были еще и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года.

Это было время Врангеля[57] и польской войны. Врангель где-то был близко, возле Новомиргорода; совсем недалеко от нас, в Черкасах, воевали поляки, по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие находились в блакитно-желтом очаровании.[58] Но мы в нашем лесу, подперев голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали педагогические книги.

У меня главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я все равно не мог применить к делу, а немедленный анализ и немедленное действие.

Нас властно обступал хаос мелочей, целое море элементарнейших требований здравого смысла, из которых каждое способно было вдребезги разнести всю нашу мудрую педагогическую науку.

---

[56] *Рятуйте* (*укр.*) – помогите, спасите, караул.

[57] *Врангель Петр Николаевич* (1878–1928) – барон, российский генерал-лейтенант (1918 г.); с апреля 1920 г. возглавлял Добровольческую (белую) армию на Юге России. В конце 1920 г. эмигрировал.

[58] Имеются в виду националистические настроения среди украинских кулаков; желто-блакитное (желто-голубое) знамя (символ петлюровцев) было у контрреволюционных националистов на Украине.

Педагогическую науку?

Всем своим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония все больше и больше принимала характер «малины» – воровского притона, в отношениях воспитанников к воспитателям все больше определялся тон постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра:

– Всегда, знаете, может пригодиться… в трудную минуту.

Они решительно отказывались пойти нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом:

– На наш век хватит!

Калина Иванович рассыпал миллионы искр из своей трубки и разводил руками:

– Что ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие алегантские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов…

И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате.

В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ.

– Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на «ты».

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

– Простите, Антон Семенович…

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

– Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором хранились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес – не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер.

Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал:

– Что такое? Скажи на милость, чего это они такие добрые?

Я рассеянно глянул в голубые очи Пана и сказал:

– Скверно, брат, дело… Первый раз в жизни ударил человека.

– Ох, ты ж, лышенько! – ахнул Калина Иванович. – А если они жалиться будут?

– Ну, это еще не беда…

К моему удивлению, все прошло прекрасно. Я проработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в общем хмурились, но свежий морозный воздух, кра-

сивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали свое дело.

В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом:

– А здо́рово! Ха-ха-ха-ха!..

Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:

– Что – здо́рово? Работа?

– Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили!

Задоров был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть такого богатыря.

Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву:

– История, ха-ха-ха!..

Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками, но утреннего события не вспоминали. Я себя чувствовал все же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, но Задоров подошел ко мне с самой серьезной рожей:

– Мы не такие плохие, Антон Семенович! Будет все хорошо. Мы понимаем…

[3] Характеристика первичных потребностей

На другой день я сказал воспитанникам:

– В спальне должно быть чисто! У вас должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается, – не приму.

– Ого! – сказал Волохов. – А может быть, можно полегче?

– Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет.

Задоров протянул мне руку.

– По рукам – правильно! Ты, Волохов, молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно, не в допр[59] же идти.

– А что, и в школу ходить обязательно? – спросил Волохов.

– Обязательно.

– А если я не хочу учиться?.. На что мне?..

– В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться – умнеть.

Волохов шутливо завертел головой и сказал, повторяя слова какого-то украинского анекдота:

– От ускочив, так ускочив!

В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую незаконность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал:

– Не выводи меня из себя. Убери!

– А то что? Морду набьете? Права не имеете!..

Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершенно искренно:

– Слушай! Последний раз предупреждаю: не морду набью, а изувечу! А потом ты на меня жалуйся, сяду в допр, это не твое дело!

Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами:

– Из-за такого пустяка в допр нечего садиться. Уберу, черт с вами!

Я на него загремел:

– Как ты разговариваешь?

– Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к…!

– Что? Выругайся…

Он вдруг засмеялся и махнул рукой.

– Вот человек, смотри ты… Уберу, уберу, не кричите!

Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из вос-

[59] *Допр* – дом принудительных работ – закрытое учреждение для заключенных Наркомюста УССР; в РСФСР – исправительно-трудовой дом.

питательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала:

– Так вы уже нашли метод? Как в бурсе,[60] да?

– Отстаньте, Лидочка!

– Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам?

– Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немного.

– Ну, хорошо, подожду.

Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально-приветливо. Только дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьезно:

– Ну, как вы себя чувствуете?

– Все равно. Прекрасно себя чувствую.

– А вы знаете, что в этой истории самое печальное?

– Самое печальное?

– Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к рабству?

Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне:

– Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боятся и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию,[61] мог причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди. Это важное обстоятельство.

– Может быть, – задумалась Екатерина Григорьевна.

Но задумываться нам было некогда. Через неделю, в феврале 1921 года, я привез на мебельной линейке полтора десятка настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было.

Прибавилось в колонии и воспитателей. К марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чета из Ивана Ивановича и Натальи Марковны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собою значительное имущество: диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как разгружались возы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых.

Интерес колонистов к имуществу Осиповых был далеко не академическим интересом, и я очень боялся, что все это великолепное переселение может получить обратное движение к городским базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка очень добрая, разговорчивая и глупая. Ее имущество хотя и уступало осиповскому, но состояло из очень аппетитных вещей. Было

---

[60] *Бурса* – в дореволюционной России название общежития при духовных училищах и семинариях с казенным содержанием.

[61] Имеется в виду Комиссия по делам несовершеннолетних правонарушителей при отделах народного образования. Эти комиссии, организованные на основании Декрета СНК РСФСР от 9 (22) января 1918 г. и состоящие из председателя в лице педагога, юриста и врача, занимались разбором дел несовершеннолетних правонарушителей.

там много муки, банок с вареньем и еще с чем-то, много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались глазами наших воспитанников разные ценные вещи.

Экономка с большим старушечьим вкусом и уютом расположилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой назначенным для такого дела, и как-то очень быстро сдружилась с двумятремя ребятами. Сдружились они на договорных началах: они доставляли ей дрова и ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать экономке в колонии было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего ее назначили.

В колонии не нужно было никакой экономки. Мы были невероятно бедны.

Кроме нескольких квартир, в которых поселился персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну большую спальню с двумя утермарковскими печами.[62] В этой комнате стояло тридцать «дачек» и три больших стола, на которых ребята обедали и писали. Другая большая спальня и столовая, две классных комнаты и канцелярия ожидали ремонта в будущем.

Постельного белья было у нас полторы смены, всякого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно в разных просьбах, обращенных к наробразу и к другим учреждениям.

Завгубнаробразом, так решительно открывший колонию, уехал куда-то на новую работу, его преемник колонией мало интересовался, – были у него дела поважнее.

Атмосфера в наробразе меньше всего соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих людей, но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то туалетные, то ломберные, когда-то черные, когда-то красные, окруженные такими же стульями, эти столики изображали разнообразные секции, о чем свидетельствовали надписи, развешанные на стенах против каждого столика. Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная величина – человек – оказывался в существе своем не столько заведующим секцией, сколько счетоводом в губраспреде. Если за каким-нибудь столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае заключалась в выяснении того, какая это секция, и в эту ли секцию должен обратиться посетитель или нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно; а если все-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за тем вон столиком в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью исчезал.

Наши неопытные шаги вокруг столиков не привели, конечно, ни к каким положительным результатам. Поэтому зимой двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование «клифт», кое-как прикрывали человеческую кожу, очень редко под «клифтами» оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы: колка дров, работа на кухне, в прачечной делали свое, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в «Русалке».[63]

На ногах у очень немногих колонистов были ботинки, большинство же обвертывали ноги портянками и завязывали веревками. Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы.

---

[62] *Утермарковские печи* – печи из кирпича в форме вертикальных цилиндров, обшитые железом.

[63] Опера *Александра Сергеевича Даргомыжского* (1813–1869) «Русалка» (1855 г.).

Пища наша называлась кондёром. *Кажется, кондёр – одно из национальных русских блюд, и поэтому я от дальнейших объяснений воздерживаюсь.* Другая пища бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания: были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов, – и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондёра и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере. Через месяц-другой нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчености и конфеты, но тем печальнее становилось наше житье, когда обнаружилось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально.

Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например в губпродком или в опродкомарм первой запасной, или в отдел снабжения какого-нибудь подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную партизанщину, и вылазки нужно было делать втайне.

Для вылазки необходимо было вооружиться бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение:

«Колония малолетних преступников просит отпустить для питания воспитанников сто пудов муки».

В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного ведомства.

Со своей бумажкой я помещался где-нибудь в коридоре соответствующего ведомства, у дверей кабинета. В двери эти входило множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народу, что туда уже мог заходить всякий желающий. Через головы посетителей нужно было пробиться к начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку.

Начальство в продовольственных ведомствах очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что «малолетние преступники» имеют отношение к просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние преступники» была довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство взирало на нас строго и говорило:

– Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой наробраз.

Чаще бывало так – начальство задумывалось и произносило:

– Кто вас снабжает? Тюремное ведомство?

– Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не снабжает, потому что это же дети…

– А кто же вас снабжает?

– До сих пор, видите ли, не выяснено…

– Как это – «не выяснено»?.. Странно!

Начальство что-то записывало в блокнот и предлагало прийти через неделю.

– В таком случае дайте пока хоть двадцать пудов.

– Двадцать я не дам, получите пока пять пудов, а я потом выясню.

Пяти пудов было мало, да и завязавшийся разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких выяснений, само собой, не ожидалось.

Единственно приемлемым для колонии имени М. Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чем не расспрашивало, а молча брало нашу бумажку и чертило в углу: «Выдать».

В этом случае я сломя голову летел в колонию:

– Калина Иванович!.. Ордер!.. Сто пудов! Скорее ищи дядьков и вези, а то разберутся там…

Калина Иванович радостно склонялся над бумажкой:

– Сто пудов? Скажи ж ты!.. А откедова ж такое?

– Разве не видишь? Губпродком губюротдела…[64]

– Кто их разберет!.. Та нам все равно: хоть черт, хоть бис, абы яйца нис, хе-хе-хе!..

Первичная потребность у человека – пища. Поэтому положение с одеждой нас так не удручало, как положение с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита колонистам удавалось удовлетворять при помощи частных способов.

Одним из основных видов частной пищевой промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым легким способом было опустошение ятерей (сеть, имеющая форму четырехгранной пирамиды), которые на недалекой речке и на нашем озере устанавливались местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих ятерей, но нашелся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило.

Это был Таранец. Ему было шестнадцать лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать коллективные интересы. Он украл на реке несколько ятерей и притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хозяева ятерей, и дело окончилось большим скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятеря, и нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать. Но через некоторое время у Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные ятеря, которые им были подарены «одним знакомым в городе». При помощи этих собственных ятерей рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг и меня.

Он принес в мою комнату тарелку жареной рыбы.

– Это вам рыба.

– Вижу, только я не возьму.

– Почему?

– Потому что неправильно. Рыбу нужно давать всем колонистам.

– С какой стати? – покраснел Таранец от обиды. – С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну на речке, а давать всем?

– Ну и забирай свою рыбу: я ничего не доставал и не мок.

– Так это мы вам в подарок…

– Нет, я не согласен, мне все это не нравится. И неправильно.

– В чем же тут неправильность?

– А в том: ятерей ведь ты не купил. Ятеря подарены?

– Подарены.

– Кому? Тебе? Или всей колонии?

– Почему – «всей колонии»? Мне…

– А я так думаю, что и мне и всем. А сковородки чьи? Твои? Общие. А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки – чье масло? Общее. А дрова, а печь, а ведра? Ну, что ты

[64] *Губпродком губюротдела* – продовольственная комиссия губернского юридического отдела.

скажешь? А я вот отберу у тебя ятеря, и кончено будет дело. А самое главное – не по-товарищески. Мало ли что – твои ятеря! А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут.

– Ну, хорошо, – сказал Таранец, – хай будет так. А рыбу вы все-таки возьмите.

Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню.

Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша – киргиза – и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались два-три колониста, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу, подержать Малыша. Все эти счастливцы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищам привозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тетка дала», «встретился со знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок.

В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.

[4] Операции внутреннего характера

В феврале у меня из ящика пропала целая пачка денег – приблизительно мое шестимесячное жалованье.

В моей комнате в то время помещались и канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, ибо я соединял в своем лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без всяких следов взлома.

Вечером я рассказал об этом ребятам и просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно было обвинить в растрате. Ребята хмуро выслушали и разошлись. После собрания, когда я проходил в свой флигель, на темном дворе ко мне подошли двое: Таранец и Гуд. Гуд – маленький, юркий юноша.

– Мы знаем, кто взял деньги, – прошептал Таранец, – только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где спрятаны. А если объявим, он подорвет[65] и деньги унесет.

– Кто взял?

– Да тут один…

Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо не вполне одобряя его политику. Он пробурчал:

– Бубну ему нужно выбить… Чего мы здесь разговариваем?

– А кто выбьет? – обернулся к нему Таранец. – Ты выбьешь? Он тебя так возьмет в работу…

– Вы мне скажите, кто взял деньги. Я с ним поговорю, – предложил я.

– Нет, так нельзя.

Таранец настаивал на конспирации. Я пожал плечами:

– Ну, как хотите.

Ушел спать.

Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд, дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обеих руках у него были скомканные в беспорядке кредитки.

Гуд от радости танцевал по колонии, ребята все просияли и прибегали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их действиях после нашего разговора.

Через два дня кто-то сбил замки в погребе и утащил несколько фунтов сала – все наше жировое богатство. Утащил и замок. Еще через день вырвали окно в кладовой, – пропали конфеты, заготовленные к празднику февральской революции, и несколько банок колесной мази, которой мы дорожили, как валютой.

Калина Иванович даже похудел за эти дни; он устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза махоркой и уговаривал:

– Вы ж только посудите! Все ж для вас, сукины сыны, у себя ж крадете, паразиты!

Таранец знал больше всех, но держался уклончиво, в его расчеты почему-то не входило раскрывать это дело. Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что обокрадены именно они.

В спальне я гневно кричал:

– Вы кто такие? Вы люди или…

– Мы урки,[66] – послышалось с какой-то дальней «дачки».

---

[65] *Подорвать* – убежать.

[66] *Урки, уркаганы* (*блатн., жарг.*) – воры.

– Уркаганы!

– Врете! Какие вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки,[67] у себя крадете. Вот теперь сидите без сала, ну и черт с вами! На праздниках – без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так!

– Так что же мы можем сделать, Антон Семенович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не знаем.

Я, впрочем, с самого начала понимал, что мои разговоры лишние. Крал кто-то из старших, которых все боялись.

На другой день я с двумя ребятами поехал хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в колонию и водворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено.

Я даже обрадовался этому обстоятельству. Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех с бóльшим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все ребята опечалились, но воодушевления никакого не было, а когда прошло первое впечатление, всех вновь обуял спортивный интерес: кто это так ловко орудует?

Еще через несколько дней из конюшни пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по хутору, просить на первое время.

Кражи происходили уже ежедневно. Утром обнаруживалось, что в том или ином месте чего-то не хватает: топора, пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше двух-трех ночей, конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так перепугался, что я больше об этом с ним не говорил.

Из ребят я подозревал многих, в том числе и Гуда и Таранца. Никаких доказательств у меня все же не было, и свои подозрения я принужден был держать в секрете.

Задоров раскатисто смеялся и шутил:

– А вы думали как, Антон Семенович, трудовая колония, трудись и трудись – и никакого удовольствия? Подождите, еще не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете?

– Посажу в тюрьму.

– Ну, это еще ничего. Я думал, бить будете.

Как-то ночью он вышел во двор одетый.

– Похожу с вами.

– Смотри, как бы воры на тебя не взъелись.

– Нет, они же знают, что вы сегодня сторожите, все равно сегодня не пойдут красть. Так что же тут такого?

– А ведь признайся, Задоров, что ты их боишься?

– Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так не в том дело, что боюсь, а ведь согласитесь, Антон Семенович, как-то не годится выдавать.

– Так ведь вас же обкрадывают.

– Ну, чего ж там – меня? Ничего тут моего нет.

– Да ведь вы здесь живете.

– Какая там жизнь, Антон Семенович! Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьетесь. Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших сторожей и дайте им винтовки.

– Нет, сторожей не найму и винтовок не дам.

– А почему? – поразился Задоров.

– Сторожам нужно платить, мы и так бедны, а самое главное, вы должны быть хозяевами.

---

[67] *Сявки* (*блатн., жарг.*) – мелкий воришка, низкий, трусливый, лишенный достоинства человек.

Мысль о том, что нужно нанять сторожей, высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая дискуссия.

Антон Братченко, лучший представитель второй партии колонистов, доказывал:

– Когда сторож стоит, никто красть не пойдет. А если и пойдет, можно ему в это самое место заряд соли всыпать. Как походит посоленный с месяц, больше не полезет.

Ему возражал Костя Ветковский, красивый мальчик, специальностью которого «на воле» было производить обыски по подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли, главные принадлежали взрослым. Сам Костя – это было установлено в его деле – никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной операций. Он всегда с презрением относился к ворам. Я давно отметил сложную и тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что он легко уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах политических. Костя доказывал:

– Антон Семенович прав. Нельзя сторожей! Сейчас мы еще не понимаем, а скоро поймем все, что в колонии красть нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнем сторожить. Правда, Бурун? – неожиданно обратился он к Буруну.

– А что ж, сторожить, так сторожить, – сказал Бурун.

В феврале наша экономка прекратила свое служение колонии, я добился ее перевода в какую-то больницу. В один из воскресных дней к ее крыльцу подали Малыша, и все ее приятели и участники философских чаев деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего богатства, со скоростью все тех же двух километров в час выехала навстречу новой жизни.

Малыш возвратился поздно, но возвратилась с ним и старушка и с рыданиями и криками ввалилась в мою комнату: она была начисто ограблена. Приятели ее и помощники не все сундучки, саквояжики и мешочки сносили на сани, а сносили и в другие места, – грабеж был наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, просто под кроватями и за шкафами найдены были все сокровища экономки. Старушка и в самом деле была богата: мы нашли около дюжины новых скатертей, много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие-то вазочки, браслет, серьги и еще много всякой мелочи.

Старушка плакала в моей комнате, а комната постепенно наполнялась арестованными – ее бывшими приятелями и сочувствующими.

Ребята сначала запирались, но я на них прикрикнул, и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными грабителями. Они ограничились кое-какими сувенирами вроде чайной салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всем этом происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих и прежде всего меня. Бурун с самого первого дня казался солиднее всех, он был всегда серьезен, сдержанно-приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в колонии – дело его рук.

Наконец-то дорвался до настоящего зла! Я привел Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии.

В спальне, на кроватях и на столах, расположились оборванные черные судьи. Пятилинейная лампочка освещала взволнованные лица колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного, неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Мак-Кинлея,[68] президента Соединенных Штатов Америки.

[68] *Мак-Кинли, Уильям* (1843–1901) – 25-й президент США (1897–1901 гг.).

В негодующих и сильных тонах я описал ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она просила помощи, – это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их последнюю тряпку.

Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились дружно и страстно. Маленький вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну:

– А что? А что ты скажешь? Тебя нужно посадить за решетку, в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и деньги взял у Антона Семеновича.

Бурун вдруг запротестовал:

– Деньги у Антона Семеновича? А ну, докажи!

– И докажу.

– Докажи!

– А что, не взял? Не ты?

– А что, я?

– Конечно, ты.

– Я взял деньги у Антона Семеновича? А кто это докажет?

Раздался голос Таранца:

– Я докажу.

Бурун опешил. Повернулся в сторону Таранца, что-то хотел сказать, потом махнул рукой:

– Ну, что же, пускай и я. Так я же отдал?

Ребята на это ответили неожиданным смехом. Им понравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он вышел вперед.

– Только выгонять его не надо. Мало чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько – это, действительно, следует.

Все примолкли. Бурун медленно повел взглядом по рябому лицу Таранца.

– Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешься? Все равно завколом[69] не будешь. Антон набьет морду, если нужно, а тебе какое дело?

Ветковский сорвался с места:

– Как – «какое дело»? Хлопцы, наше это дело или не наше?

– Наше! – закричали хлопцы. – Мы тебе сами морду набьем получше Антона!

Кто-то уже бросился к Буруну. Братченко размахивал руками у самой физиономии Буруна и вопил:

– Пороть тебя нужно, пороть!

Задоров шепнул мне на ухо:

– Возьмите его куда-нибудь, а то бить будут.

Я оттащил Братченко от Буруна. Задоров отшвырнул двух-трех. Насилу прекратили шум.

– Пусть говорит Бурун! Пускай скажет! – крикнул Братченко.

Бурун опустил голову.

– Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня с Антоном Семеновичем, – пусть накажет, как знает.

Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краев. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну.

Через темный двор в снежных окопах мы прошли молча: я – впереди, он – за мной.

---

[69] *Завкол* – заведующий колонией.

У меня на душе было отвратительно. Бурун казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке, значительная часть членов которой – совершеннолетние – была расстреляна. Ему было семнадцать лет.

Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем-нибудь тяжелым и на этом покончить беседу.

Наконец Бурун медленно поднял голову, пристально глянул в мои глаза и сказал медленно, подчеркивая каждое слово, еле-еле сдерживая рыдания:

– Я… больше… никогда… красть не буду.

– Врешь! Ты это обещал уже комиссии.

– То комиссии, а то – вам! Накажите, как хотите, только не выгоняйте из колонии.

– А что для тебя в колонии интересно?

– Мне здесь нравится. Здесь занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что жрать хочется.

– Ну, хорошо. Отсидишь три дня под замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать!

– Хорошо.

Трое суток отсидел Бурун в маленькой комнатке возле спальни, в той самой, в которой в старой колонии жили дядьки. Запирать я его не стал, дал он честное слово, что без моего разрешения выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, на второй день стало жалко, принесли ему обед. Бурун попробовал гордо отказаться, но я заорал на него:

– Какого черта, ломаться еще будешь!

Он улыбнулся, передернул плечами и взялся за ложку.

Бурун сдержал слово: он никогда потом ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте.

[5] Дела государственного значения

В то время когда наши колонисты почти безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые относились к нему сугубо внимательно.

Главные из этих сил располагались на большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда бы на этой дороге кто-нибудь не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза, грабители без лишних разговоров запускали свободные от обрезов руки за пазухи жен, сидящих на возах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали кнутовищами по холявам и удивлялись:

– Кто ж его знал? Прятали гроши в самое верное место, жинкам за пазуху, а они – смотри! – прямо за пазуху и полезли.

Такое, так сказать, коллективное ограбление почти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опомнившись и простоявши на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и выразительно описывали нам происшествие. Я собирал армию, вооружал ее дрекольем, сам брал револьвер, мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали по лесу. Но только один раз поиски наши увенчались успехом: в полуверсте от дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались, но одного из них все-таки удалось схватить и привести в колонию. У него не нашлось ни обреза, ни награбленного и он отрицал все на свете. Переданный нами в губрозыск, он оказался, однако, известным бандитом, и вслед за ним была арестована вся шайка. От имени губисполкома колонии имени Горького была выражена благодарность.

Но и после этого грабежи на большой дороге не уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить уже следы «мокрых» ночных событий. Между соснами в снегу вдруг видим торчащую руку. Откапываем и находим женщину, убитую выстрелом в лицо. В другом месте, возле самой дороги, в кустах – мужчина в извозчичьем армяке с разбитым черепом. В одно прекрасное утро просыпаемся и видим: с опушки леса на нас смотрят двое повешенных. Пока прибыл следователь, они двое суток висели и глядели на колонистскую жизнь вытаращенными глазами.

Колонисты ко всем этим явлениям относились без всякого страха и с искренним интересом. Весной, когда стаял снег, они разыскивали в лесу обглоданные лисицами черепа, надевали их на палки и приносили в колонию со специальной целью попугать Лидию Петровну. Воспитатели и без того жили в страхе и ночью дрожали, ожидая, что вот-вот в колонию ворвется грабительская шайка и начнется резня. Особенно перепуганы были Осиповы, у которых, по общему мнению, было что грабить.

В конце февраля наша подвода, ползущая с обычной скоростью из города с кое-каким добром, была остановлена вечером возле самого поворота в колонию. На подводе были крупа и сахарный песок, – вещи, почему-то грабителей не соблазнившие. У Калины Ивановича, кроме трубки, не нашлось никаких ценностей. Это обстоятельство вызвало у грабителей справедливый гнев: они треснули Калину Ивановича по голове, он свалился в снег и пролежал в нем, пока грабители не скрылись. Гуд, все время состоявший у нас при Малыше, был простым свидетелем. Приехав в колонию, и Калина Иванович и Гуд разразились длинными рассказами. Калина Иванович описывал события в красках драматических, Гуд – в красках комических. Но постановление было вынесено единодушное: всегда высылать навстречу нашей подводе отряд колонистов.

Мы так и делали в течение двух лет. Эти походы на дорогу назывались у нас по-военному: «Занять дорогу».

Отправлялось человек десять. Иногда и я входил в состав отряда, так как у меня был наган. Я не мог его доверить всякому колонисту, а без револьвера наш отряд казался слабым.

Только Задоров получал от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его поверх своих лохмотьев.

Дежурство на большой дороге было очень интересным занятием. Мы располагались на протяжении полутора километров по всей дороге, начиная от моста через речку до самого поворота в колонию. Хлопцы мерзли и подпрыгивали на снегу, перекликались, чтобы не потерять связи друг с другом, и в наступивших сумерках пророчили верную смерть воображению запоздавшего путника. Возвращавшиеся из города селяне колотили лошадей и молча проскакивали мимо ритмически повторяющихся фигур самого уголовного вида. Управляющие совхозами и власти пролетали на громыхающих тачанках и демонстративно показывали колонистам двустволки и обрезы, пешеходы останавливались у самого моста и ожидали новых путников.

При мне колонисты никогда не хулиганили и не пугали путешественников, но без меня допускали шалости, и Задоров скоро даже отказался от револьвера и потребовал, чтобы я бывал на дороге обязательно. Я стал выходить при каждой командировке отряда, но револьвер отдавал все же Задорову, чтобы не лишить его заслуженного наслаждения.

Когда показывался наш Малыш, мы его встречали криком:

– Стой! Руки вверх!

Но Калина Иванович только улыбался и с особенной энергией начинал раскуривать свою трубку. Раскуривания трубки хватало ему до самой колонии, потому что в этом случае применялась известная формула:

– Сим вэрст крэсав, не вчувсь, як и выкрэсав.

Наш отряд постепенно сворачивал за Малышом и веселой толпой вступал в колонию, расспрашивая Калину Ивановича о разных продовольственных новостях.

Этою же зимою мы приступили и к другим операциям, уже не колонистского, а общегосударственного значения. В колонию приехал лесничий и просил наблюдать за лесом: порубщиков много, он со своим штатом не управляется.

Охрана государственного леса очень подняла нас в собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу и, наконец, приносила значительные выгоды.

Ночь. Скоро утро, но еще совершенно темно. Я просыпаюсь от стука в окно. Смотрю: на оконном стекле туманятся сквозь ледяные узоры приплюснутый нос и взлохмаченная голова.

– В чем дело?

– Антон Семенович, в лесу рубят!

Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру револьвер и двустволку и выхожу. Меня ожидают у крыльца особенные любители ночных похождений – Бурун и Шелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо безгрешное.

Бурун забирает у меня из рук двустволку, и мы входим в лес.

– Где?

– А вот послушайте…

Останавливаемся. Сначала я ничего не слышу, потом начинаю различать еле заметное среди неуловимых ночных звуков и звуков нашего дыхания глухое биение рубки. Двигаемся вперед, наклоняемся, ветки молодых сосен царапают наши лица, сдергивают с моего носа очки и обсыпают нас снегом. Иногда стуки топора вдруг прорываются, мы теряем направление и терпеливо ждем. Вот они опять ожили, уже громче и ближе.

Нужно подойти совершенно незаметно, чтобы не спугнуть вора. Бурун по-медвежьи ловко переваливается, за ним семенит крошечный Шелапутин, кутаясь в свой клифт. Заключаю шествие я.

Наконец мы у цели. Притаились за сосновым стволом. Высокое стройное дерево вздрагивает, у его основания – подпоясанная фигура. Ударит несмело и неспоро несколько раз, выпрямится, оглянется и снова рубит. Мы от нее шагах в пяти. Бурун наготове держит двустволку

дулом вверх, смотрит на меня и не дышит. Шелапутин притаился за мной и шепчет, повисая на моем плече:

– Можно? Уже можно?

Я киваю головой. Шелапутин дергает Буруна за рукав.

Выстрел гремит, как страшный взрыв, и далеко раскатывается по лесу.

Человек с топором рефлективно присел. Молчание. Мы подходим к нему. Шелапутин знает свои обязанности, топор уже в его руках. Бурун весело приветствует:

– А-а, Мусий Карпович, доброго ранку!

Он треплет Мусия Карповича по плечу, но Мусий Карпович не в состоянии выговорить ответное приветствие. Он дрожит мелкой дрожью и для чего-то стряхивает снег с левого рукава.

Я спрашиваю:

– Конь далеко?

Мусий Карпович по-прежнему молчит, отвечает за него Бурун:

– Да вон же и конь!.. Эй, кто там? Заворачивай!

Только теперь я различаю в сосновом переплете лошадиную морду и дугу.

Бурун берет Мусия Карповича под руку:

– Пожалуйте, Мусий Карпович, в карету скорой помощи.

Мусий Карпович наконец начинает подавать признаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по волосам и шепчет, ни на кого не глядя:

– Ох, ты ж, боже мой!..

Мы направляемся к саням.

Так называемые «рижнати» – сани – медленно разворачиваются, и мы двигаемся по еле заметному глубокому и рыхлому следу. На коняку чмокает и печально шевелит вожжами хлопец лет четырнадцати в огромной шапке и сапогах. Он все время сморкает носом и вообще расстроен. Молчим.

При выезде на опушку леса Бурун берет вожжи из рук хлопца.

– Э, цэ вы не туды поихалы. Цэ, як бы с грузом, так туда, а коли з батьком, так ось куды…

– На колонию? – спрашивает хлопец, но Бурун уже не отдает ему вожжей, а сам поворачивает коня на нашу дорогу.

Начинает светать.

Мусий Карпович вдруг через руку Буруна останавливает лошадь и снимает другой рукой шапку.

– Антон Семенович, отпустите! Первый раз. Дров нэма… Отпустите!

Бурун недовольно стряхивает его руку с вожжей, но коня не погоняет, ждет, что я скажу.

– Э, нет, Мусий Карпович, – говорю я, – так не годится. Протокол нужно составить: дело, сами знаете, государственное.

– И не первый раз вовсе, – серебряным альтом встречает рассвет Шелапутин. – Не первый раз, а третий: один раз ваш Василь поймался, а другой…

Бурун перебивает музыку серебряного альта хриплым баритоном:

– Чего тут будем стоять? А ты, Андрию, лети домой, твое дело маленькое. Скажешь матери, что батько засыпался. Пускай передачу готовит.

Андрей в испуге сваливается с саней и летит к хутору. Мы трогаем дальше. При въезде в колонию нас встречает группа хлопцев.

– О! А мы думали, что вас там поубивали, хотели на выручку.

Бурун смеется:

– Операция прошла с головокружительным успехом.

В моей комнате собирается толпа. Мусий Карпович, подавленный, сидит на стуле против меня, Бурун – на окне с ружьем, Шелапутин шепотом рассказывает товарищам жуткую исто-

рию ночной тревоги. Двое ребят сидят на моей постели, остальные – на скамьях, внимательно наблюдают процедуру составления акта.

Акт пишется с душераздирающими подробностями.

– Земли у вас двенадцать десятин? Коней трое?

– Та яки там кони? – стонет Мусий Карпович. – Там же лошичка… два роки тилько…

– Трое, трое, – поддерживает Бурун и нежно треплет Мусия Карповича по плечу.

Я пишу дальше:

– «… в отрубе шесть вершков…»

Мусий Карпович протягивает руки:

– Ну что вы, бог с вами, Антон Семенович? Де ж там шесть? Там же и четырех нэма.

Шелапутин вдруг отрывается от повествования шепотом, показывает руками нечто, равное полуметру, и нахально смеется в глаза Мусию Карповичу:

– Вот такое? Вот такое? Правда?

Мусий Карпович отмахивается от его улыбки и покорно следит за моей ручкой.

Акт готов. Мусий Карпович обиженно подает мне руку на прощанье и протягивает руку Буруну, как самому старшему.

– Напрасно вы это, хлопцы, делаете: всем жить нужно.

Бурун перед ним расшаркивается:

– Нет, отчего же, всегда рады помочь… – Вдруг он вспоминает: – Да, Антон Семенович, а как же дерево?

Мы задумываемся. Действительно, дерево почти срублено, завтра его все равно дорубят и украдут. Бурун не ожидает конца нашего раздумья и направляется к дверям. На ходу он бросает вконец расстроенному Мусию Карповичу:

– Коня приведем, не беспокойтесь. Хлопцы, кто со мной? Ну вот, шести человек довольно. Веревка там есть, Мусий Карпович?

– До рижна[70] привязана.

Все расходятся. Через час в колонию привозят длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по старой традиции, в пользу колонии остается топор. Много воды утечет в нашей жизни, а во время взаимных хозяйственных расчетов долго еще будут говорить колонисты:

– Было три топора. Я тебе давал три топора. Два есть, а третий где?

– Какой «третий»?

– Какой? А Мусия Карповича, что тогда отобрали.

Не столько моральные убеждения и гнев, сколько вот эта интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и фантазировали на темы о наших похождениях, роднились в отдельных ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему имя – колония Горького.

[70] *Рижен* – колышек на краю саней.

[6] Завоевание железного бака

Между тем наша колония понемногу начала развивать свою материальную историю. Бедность, доведенная до последних пределов, вши и отмороженные ноги не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хотя наш тридцатилетний Малыш и старая сеялка мало давали надежд на развитие сельского хозяйства, наши мечты получили именно сельскохозяйственное направление. Но это были только мечты. Малыш представлялся двигателем, настолько мало приспособленным для сельского хозяйства, что только в воображении можно было рисовать картину: Малыш за плугом. Кроме того, голодали в колонии не только колонисты, голодал и Малыш. С большим трудом мы доставали для него солому, иногда сено. Почти всю зиму не ездили, а мучились с ним, и у Калины Ивановича всегда болела правая рука от постоянных угрожающих верчений кнута, без которых Малыш просто останавливался.

Наконец, для сельского хозяйства не годилась самая почва нашей колонии. Это был песок, который при малейшем ветре перекатывался дюнами.

И сейчас я не вполне понимаю, каким образом, при описанных условиях, мы проделали явную авантюру, которая, тем не менее, поставила нас на ноги.

Началось с анекдота.

Вдруг нам улыбнулось счастье: мы получили ордер на дубовые дрова. Их нужно было свезти прямо с рубки. Это было в пределах нашего сельсовета, но в той стороне нам до сего времени бывать ни разу не приходилось.

Сговорившись с двумя нашими соседями-хуторянами, мы на их лошадях отправились в неведомую страну. Пока возчики бродили по рубке, взваливали на сани толстые дубовые колоды и спорили, «поплывэ чи не поплывэ» с саней такая колода в дороге, мы с Калиной Ивановичем обратили внимание на ряд тополей, поднимавшихся над камышами замерзшей речки.

Перебравшись через лед и поднявшись по какой-то аллейке в горку, мы очутились в мертвом царстве. До десятка больших и маленьких домов, сараев и хат, служб и иных сооружений находились в развалинах. Все они были равны в своем разрушении: на местах печей лежали кучи кирпича и глины, запорошенные снегом; полы, двери, окна, лестницы исчезли. Многие переборки и потолки тоже были сломаны, во многих местах разбирались уже кирпичные стены и фундаменты. От огромной конюшни остались только две продольных кирпичных стены, и над ними печально и глупо торчал в небе прекрасный, как будто только что окрашенный железный бак. Он один во всем имении производил впечатление чего-то живого, все остальное казалось уже трупом.

Но труп был богатый: в сторонке высился двухэтажный дом, новый, еще не облицованный, с претензией на стиль. В его комнатах, высоких и просторных, еще сохранились лепные потолки и мраморные подоконники. В другом конце двора – новенькая конюшня пустотелого бетона. Даже и разрушенные здания при ближайшем осмотре поражали основательностью постройки, крепкими дубовыми срубами, мускулистой уверенностью связей, стройностью стропильных ног, точностью отвесных линий. Мощный хозяйственный организм не умер от дряхлости и болезней: он был насильственно прикончен в полном расцвете сил и здоровья.

Калина Иванович только крякал, глядя на все это богатство:

– Ты ж глянь, что тут делается: тут тебе и речка, тут тебе и сад, и луга вон какие!..

Речка окружала имение с трех сторон, обходя случайную на нашей равнине довольно высокую горку. Сад спускался к реке тремя террасами: на верхней – вишни, на второй – яблони и груши, на нижней – целые плантации черной смородины.

На втором дворе работала большая пятиэтажная мельница. От рабочих мельницы мы узнали, что имение принадлежало братьям Трепке. Трепке ушли с деникинской армией, оста-

вив свои дома наполненными добром. Добро это давно ушло в соседнюю Гончаровку и по хуторам, теперь туда же переходили и дома.

Калина Иванович разразился целой речью:

– Дикари, ты не понимаешь, мерзапцы, адиоты! Тут вам такое добро – палаты, конюшни! Живи ж, сукин сын, сиди, хозяйствуй, кофий пей, а ты, мерзавец, такую вот раму сокирою бьёшь. А почему? Потому что тебе нужно галушки сварить, так нет того – нарубить дров… Чтоб ты подавился тою галушкою, дурак, адиот! И сдохнет таким, понимаешь, никакая революция ему не поможет… Ах, сволочи, ах, подлецы, остолопы проклятые!.. Ну, что ты скажешь?.. А скажите, пожалуйста, товарищ, – обратился Калина Иванович к одному из мельничных, – а от кого это зависит, ежели б тот бачок получить? Вон тот, что над конюшней красуется. Все равно ж он тут пропадает без последствий.

– Бачок тот? А черт его знает! Тут сельсовет распоряжается.

– Ага! Ну, это хорошо, – сказал Калина Иванович, и мы отправились домой.

На обратном пути, шагая по накатанной предвесенней дороге за санями наших соседей, Калина Иванович размечтался: как хорошо было бы этот самый бак получить, перевезти в колонию, поставить на чердак прачечной и таким образом превратить прачечную в баню.

Утром, отправляясь снова на рубку, Калина Иванович взял меня за пуговицу:

– Напиши, голубчик, бумажку этим самым сельсоветам. Им бак нужный, как собаке боковой карман, а у нас будет баня…

Чтобы доставить удовольствие Калине Ивановичу, я бумажку написал. К вечеру Калина Иванович возвратился взбешенный:

– Вот паразиты! Они смотрят только теорехтически, а не прахтически. Говорят, бак этот самый – чтоб им пусто было! – государственная собственность. Ты видав таких адиотов? Напиши, я поеду в волисполком.

– Куда ты поедешь? Это же двадцать верст. На чем ты поедешь?

– А тут один человечек собирается, так я с ним и прокачусь.

Проект Калины Ивановича строить баню очень понравился всем колонистам, но в получение бака никто не верил.

– Давайте как-нибудь без бака этого. Можно деревянный устроить.

– Эх, ничего ты не понимаешь! Люди делали железные баки, значит, они понимали. А этот бак я у них, паразитов, с мясом вырву…

– А на чем вы его довезете? На Малыше?

– Довезем! Было б корыто, а свиньи будут.

Из волисполкома Калина Иванович возвратился еще злее и забыл все слова, кроме ругательных.

Целую неделю он, под хохот колонистов, ходил вокруг меня и клянчил:

– Напиши бумажку в уисполком.

– Отстань, Калина Иванович, есть другие дела, важнее твоего бака.

– Напиши, ну что тебе стоит? Чи тебе бумаги жалко, чи што? Напиши, – вот увидишь, привезу бак.

И эту бумажку я написал Калине Ивановичу. Засовывая ее в карман, Калина Иванович наконец улыбнулся:

– Не может того быть, чтоб такой дурацкий закон стоял: пропадает добро, а никто не думает. Это ж тебе не царское время.

Из волисполкома Калина Иванович приехал поздно вечером и даже не зашел ни ко мне, ни в спальню. Только утром он пришел в мою комнату и был надменно-холоден, аристократически подобран и смотрел через окно в какую-то далекую даль.

– Ничего *из этих паразитов большевиков* не выйдет, – сказал он сухо, протягивая мне бумажку.

Поперек нашего обстоятельного текста на ней было начертано красными чернилами коротко, решительно и до обидного безапелляционно: «Отказать».

Калина Иванович страдал длительно и страстно. Недели на две исчезло куда-то его милое старческое оживление.

В ближайший воскресный день, когда уже здорово издевался март над задержавшимся снегом, я пригласил некоторых ребят пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое-какие теплые вещи, и мы отправились… в имение Трепке.

– А не устроить ли нам здесь нашу колонию? – задумался я вслух.

– Где «здесь»?

– Да вот в этих домах.

– Так как же? Тут же нельзя жить…

– Отремонтируем.

Задоров залился смехом и пошел штопором по двору.

– У нас вон еще три дома не отремонтированы. Всю зиму не могли собраться.

– Ну, хорошо, а если бы все-таки отремонтировать?

– О, тут была бы колония! Речка ж и сад, и мельница.

Мы лазили среди развалин и мечтали: здесь спальни, здесь столовая, тут клуб шикарный, это классы.

Возвратились домой уставшие и энергичные. В спальне шумно обсуждали детали будущей колонии. Перед тем как расходиться, Екатерина Григорьевна сказала:

– А знаете что, хлопцы, нехорошо это – заниматься такими несбыточными мечтами. Это не по-большевистски.

В спальне неловко притихли.

Я с остервенением глянул в лицо Екатерины Григорьевны, стукнул кулаком по столу и сказал:

– А я вам говорю: через месяц это имение будет наше! По-большевистски это будет?

Хлопцы взорвались хохотом и закричали «ура». Смеялся и я, смеялась и Екатерина Григорьевна.

Целую ночь я просидел над докладом в губисполком.

Через неделю меня вызвал завгубнаробразом.

– Хорошо придумали, – поедем, посмотрим.

Еще через неделю наш проект рассматривался в губисполкоме. Оказывалось, что судьба имения давно беспокоила власть. А я имел случай рассказать о бедности, бесперспективности, заброшенности колонии, в которой уже родился живой коллектив.

Предгубисполкома сказал:

– Там нужен хозяин, а здесь хозяева ходят без дела. Пускай берут.

И вот я держу в руках ордер на имение, бывшее Трепке, а к нему шестьдесят десятин пахотной земли и утвержденная смета на восстановление. Я стою среди спальни, я еще с трудом верю, что это не сон, а вокруг меня взволнованная толпа колонистов, вихрь восторгов и протянутых рук.

– Дайте ж и нам посмотреть!

Входит Екатерина Григорьевна. К ней бросаются с пенящимся задором, и Шелапутин пронзительно звенит:

– Это по-большевицкому или по-какому? Вот теперь скажите.

– Что такое, что случилось?

– Это по-большевицкому? Смотрите, смотрите!..

Больше всех радовался Калина Иванович:

– Ты молодец, ибо, як там сказано у попов: просите – и обрящете, толцыте и отверзется, и дастся вам…[71]

– По шее, – сказал Задоров.

– Как же так – «по шее»? – обернулся к нему Калина Иванович. – Вот же ордер.

– Это вы «толцыте» за баком, и вам дали по шее. А здесь дело, нужное для государства, а не то что мы выпросили.

– Ты еще молод разбираться в Писании, – пошутил Калина Иванович, так как сердиться в эту минуту он не мог.

В первый же воскресный день он со мной и толпой колонистов отправился для осмотра нового нашего владения. Трубка его победоносно дымила в физиономию каждого кирпича трепкинских остатков. Он важно прошелся мимо бака.

– Когда же бак перевозить, Калина Иванович? – серьезно спросил Бурун.

– А на что его, паразита, перевозить? Он и здесь пригодится. Ты ж понимаешь: конюшня по последнему слову заграничной техники.

[71] Цитата из Библии (Матфей, 7, 7; Лука, 11, 9).

[7] «Ни одна блоха не плоха»

Наше торжество по поводу завоевания наследства братьев Трепке не так скоро мы могли перевести на язык фактов. Отпуск денег и материалов по разным причинам задерживался. Самое же главное препятствие было в маленькой, но вредной речушке Коломак. Коломак, отделявший нашу колонию от имения Трепке, в апреле проявил себя как очень солидный представитель стихии. Сначала он медленно и упорно разливался, а потом еще медленнее уходил в свои скромные берега и оставлял за собою новое стихийное бедствие: непролазную, непроезжую грязь.

Поэтому «Трепке», как у нас тогда называли новое приобретение, продолжало еще долго оставаться в развалинах. Колонисты в это время предавались весенним переживаниям. По утрам, после завтрака, ожидая звонка на работу, они рядком усаживались возле амбара и грелись на солнышке, подставляя его лучам свои животы и пренебрежительно разбрасывая клифты по всему двору. Они могли часами молча сидеть на солнце, наверстывая зимние месяцы, когда у нас трудно было нагреться и в спальнях.

Звонок на работу заставлял их подниматься и нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во время работы они находили предлоги и технические возможности раз-другой повернуться каким-нибудь боком к солнцу.

* * *

В начале апреля убежал Васька Полещук. Он не был завидным колонистом. В декабре я наткнулся в наробразе на такую картину: толпа народу у одного из столиков окружила грязного и оборванного мальчика. Секция дефективных признала его душевнобольным и отправляла в какой-то специальный дом. Оборванец протестовал, плакал и кричал, что он вовсе не сумасшедший, что его обманом привезли в город, а на самом деле везли в Краснодар, где обещали поместить в школу.

– Чего ты кричишь? – спросил я его.

– Да вот, видишь, признали меня сумасшедшим…

– Слышал. Довольно кричать, едем со мной!

– На чем едем?

– На своих двоих. Запрягай!

– Ги-ги-ги!..

Физиономия у оборванца была действительно не из интеллигентных. Но от него веяло большой энергией, и я подумал: «Да все равно: ни одна блоха не плоха…»[72]

Дефективная секция с радостью освободилась от своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в колонию. Дорогою он рассказал обычную историю, начинающуюся со смерти родителей и нищенства. Звали его Васька Полещук. По его словам, он был человек «ранетый» – участвовал во взятии Перекопа.

В колонии на другой же день он замолчал, и никому – ни воспитателям, ни хлопцам – не удавалось его разговорить. Вероятно, подобные явления и побудили ученых признать Полещука сумасшедшим.

Хлопцы заинтересовались его молчанием и просили у меня разрешения применить к нему какие-то особые методы: нужно обязательно перепугать, тогда он сразу заговорит. Я категорически запретил это. Вообще я жалел, что взял этого молчальника в колонию.

---

[72] Цитата (речь Луки) из пьесы Максима Горького «На дне» (1902 г.).

Вдруг Полещук заговорил, заговорил без всякого повода. Просто был прекрасный теплый весенний день, наполненный запахами подсыхающей земли и солнца. Полещук заговорил энергично, крикливо, сопровождая слова смехом и прыжками. Он по целым дням не отходил от меня, рассказывая о прелестях жизни в Красной армии и о командире Зубате.

– Вот был человек! Глаза такие, аж синие, такие черные, как глянет, так аж в животе холодно. Он как в Перекопе был, так аж нашим было страшно.

– Что ты все о Зубате рассказываешь? – спрашивают ребята. – Ты его адрес знаешь?

– Какой адрес?

– Адрес, куда ему писать, ты знаешь?

– Нет, не знаю. А зачем ему писать? Я поеду в город Николаев, там найду…

– Да ведь он тебя прогонит…

– Он меня не прогонит. Это другой меня прогнал. Говорит: нечего с дурачком возиться. А я разве дурачок?

Целыми днями Полещук рассказывал всем о Зубате, о его красоте, неустрашимости и что он никогда не ругался матерной бранью. Ребята прямо спрашивали:

– Подрывать собираешься?

Полещук поглядывал на меня и задумывался. Думал долго, и когда о нем уже забывали и ребята увлекались другой темой, он вдруг тормошил задавшего вопрос:

– Антон будет сердиться?

– За что?

– А вот если я подорву?

– А ты ж думаешь, не будет? Стоило с тобой возиться!..

Васька опять задумывался.

И однажды после завтрака прибежал ко мне Шелапутин.

– Васьки в колонии нету… И не завтракал – подорвал. Поехал к Зубате.

На дворе меня окружили хлопцы. Им было интересно знать, какое впечатление произвело на меня исчезновение Васьки.

– Полещук – таки дернул…

– Весной запахло…

– В Крым поехал…

– Не в Крым, а в Николаев…

– Если пойти на вокзал, можно поймать…

И незавидный был колонист Васька, а побег его произвел на меня очень тяжелое впечатление. Было обидно и горько, что вот не захотел человек принять нашей небольшой жертвы, пошел искать лучшего. И знал я в то же время, что наша колонистская бедность никого удержать не может. Ребятам я сказал:

– Ну и черт с ним! Ушел – и ушел. Есть дела поважнее.

* * *

В апреле Калина Иванович начал пахать. Это событие совершенно неожиданно свалилось на нашу голову. Комиссия по делам несовершеннолетних поймала конокрада, несовершеннолетнего. Преступника куда-то отправили, но хозяина лошади сыскать не могли. Комиссия неделю провела в страшных мучениях: ей очень непривычно было иметь у себя такое неудобное вещественное доказательство, как лошадь. Пришел в комиссию Калина Иванович, увидел мученическую жизнь и грустное положение ни в чем не повинной лошади, стоявшей посреди мощенного булыжником двора, – ни слова не говоря, взял ее за повод и привел в колонию. Вслед ему летели облегченные вздохи членов комиссии.

В колонии Калину Ивановича встретили крики восторга и удивления. Гуд принял в трепещущие руки от Калины Ивановича повод, а в просторы своей гудовской души такое напутствие:

– Смотри ж ты мине! Это тебе не то, как вы один з одним обращаетесь! Это животная – она языка не имеет и ничего не может сказать. Пожалиться ей, сами знаете, невозможно. Но если ты ей будешь досаждать и она тебе стукнет копытом по башке, так к Антону Семеновичу не ходи. Хочь – плачь, хочь – не плачь, я тебе все равно споймаю. И голову провалю.

Мы стояли вокруг этой торжественной группы, и никто из нас не протестовал против столь грозных опасностей, угрожавших башке Гуда. Калина Иванович сиял и улыбался сквозь трубку, произнося такую террористическую речь. Лошадь была рыжей масти, еще не стара и довольно упитанна.

Калина Иванович с хлопцами несколько дней провозился в сарае. При помощи молотков, отверток, просто кусков железа, наконец, при помощи многих поучительных речей ему удалось наладить нечто вроде плуга из разных ненужных остатков старой колонии.

И вот благословенная картина: Бурун с Задоровым пахали. Калина Иванович ходил рядом и говорил:

– Ах, паразиты, и пахать не умеют: вот тебе огрих; вот огрих, вот огрих…

Хлопцы добродушно огрызались:

– А вы бы сами показали, Калина Иванович. Вы, наверное, сами никогда не пахали.

Калина Иванович вынимал изо рта трубку, старался сделать зверское лицо:

– Кто, я не пахав? Разве нужно обязательно самому пахать? Нужно понимать. Я вот понимаю, что ты огрихив сделав, а ты не понимаешь.

Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд шпионил за пахарями, не издеваются ли они над конем, а Братченко просто влюбленными глазами смотрел на Рыжего. Он пристроился к Гуду в качестве добровольного помощника по конюшне.

В сарае возились несколько старших хлопцев у старой сеялки. На них покрикивал и поражал их впечатлительные души кузнечно-слесарной эрудицией Софрон Головань.

Софрон Головань имел несколько очень ярких черт, заметно выделявших его из среды прочих смертных. Он был огромного роста, замечательно жизнерадостен, всегда был выпивши и никогда не бывал пьян, обо всем имел свое собственное и всегда удивительно невежественное мнение. Головань был чудовищное соединение кулака с кузнецом: у него были две хаты, три лошади, две коровы и кузница. Несмотря на свое кулацкое состояние, он все же был хорошим кузнецом, и его руки были несравненно просвещеннее его головы. Кузница Софрона стояла на самом харьковском шляху, рядом с постоялым двором, и в этом ее географическом положении был запрятан секрет обогащения фамилии Голованей.

В колонию Софрон пришел по приглашению Калины Ивановича. В наших сараях нашелся кое-какой кузнечный инструмент. Сама кузница была в полуразрушенном состоянии, но Софрон предлагал перенести сюда свою наковальню и горн, прибавить кое-какой инструмент и работать в качестве инструктора. Он брался даже за свой счет поправить здание кузницы. Я удивлялся, откуда это у Голованя такая готовность идти к нам на помощь.

Недоумение мое разрешил на «вечернем докладе» Калина Иванович.

Засовывая бумажку в стекло моего ночника, чтобы раскурить трубку, Калина Иванович сказал:

– А этот паразит Софрон недаром к нам идет. Его, знаешь, придавили мужички, так он боится, как бы кузницу у него не отобрали, а тут он, знаешь, как будто на совецькой службе будет считаться.

– Что ж нам с ним делать? – спросил я Калину Ивановича.

– А что ж нам делать? Кто сюда пойдет? Где мы горн возьмем? А струмент? И квартир у нас нету, а если и есть какая халупа, так и столярей же нужно звать. И знаешь, – прищурился

Калина Иванович, – нам што: хочь рыжа, хочь кирпата, абы хата богата. Што ж с того, што он кулак, работать же он будет все равно, как и настоящий человек. *Мало ли чего эти большевики говорят, так не все ж на правду переводится.*

Калина Иванович задумчиво дымил в низкий потолок моей комнаты и вдруг заулыбался:

– Мужики эти, паразиты, все равно у него отберут кузню, а толк какой с того? Все равно проведуть без дела. Так лучше пускай у нас кузня будет, а Софрону все равно пропадать. Подождем малость – дадим ему по шапке: у нас совецькая учреждения, а ты што ж, сукин сын, мироедом був, кров человеческую пил, хе-хе-хе!..

Мы уже получили часть денег на ремонт имения, но их было так мало, что от нас требовалась исключительная изворотливость. Нужно было все делать своими руками. Для этого нужна была кузница, нужна была и столярная мастерская. Верстаки у нас были, на них кое-как можно было работать, инструмент купили. Скоро в колонии появился и инструктор-столяр, – *настоящий советский человек. Это было видно из того, что в самый день приезда в колонию, когда кто-то из колонистов пытался подшутить над инструктором, он недвусмысленно пообещал:*

– Потише, а то я поступлю с тобою по-флотски.

Как это «поступить по-флотски», до конца нашей истории осталось тайной, но ребятам тогда показалось, что это нечто внушительное. Сам Елисов не обладал, впрочем, никакой внушительностью: маленький человечек с черными усиками, и столярное дело он знал неважно, но у него была настоящая охота принять участие в наших подвигах, и к работе, к задачам нашим, удачам и неудачам он всегда относился с весёлой страстью. Под его руководством хлопцы энергично принялись распиливать привезенные из города доски и клеить окна и двери для новой колонии. К сожалению, ремесленные познания наших столяров были столь ничтожны, что процесс приготовления для будущей жизни окон и дверей в первое время был очень мучительным. Кузнечные работы, – а их нужно было немало, – сначала тоже не радовали нас. Софрон не особенно стремился к скорейшему окончанию восстановительного периода в советском государстве. Жалованье его как инструктора выражалось в цифрах ничтожных: в день получки Софрон демонстративно все полученные деньги отправлял с одним из ребят к бабе-самогонщице с приказом:

– Три бутылки первака.

Я об этом узнал не скоро. И вообще в то время я был загипнотизирован списком: скобы, навесы, петли, щеколды. Вместе со мной все были увлечены вдруг развернувшейся работой, из ребят уже выделились столяры и кузнецы, в кармане у нас стала шевелиться копейка.

Нас прямо в восторг приводило то оживление, которое принесла с собою кузница. В восемь часов в колонии раздавался веселый звук наковальни, в кузнице всегда звучал смех, у ее широко раскрытых ворот то и дело торчали два-три селянина, говорили о хозяйских делах, о продразверстке, о председателе комнезама[73] Верхоле, о кормах и о сеялке. Селянам мы ковали лошадей, натягивали шины, ремонтировали плуги. С незаможников мы брали половинную плату, и это обстоятельство сделалось отправным пунктом для бесконечных дискуссий о социальной справедливости и о социальной несправедливости.

Софрон предложил сделать для нас шарабан. В неистощимых на всякий хлам сараях колонии нашелся какой-то кузов. Калина Иванович привез из города пару осей. По ним в течение двух дней колотили молотами и молотками в кузнице. Наконец Софрон заявил, что шарабан готов, но нужны рессоры и колеса. Рессор у нас не было, колес тоже не было. Я долго рыскал по городу, выпрашивал старые рессоры, а Калина Иванович отправился в длительное путешествие в глубь страны. Он ездил целую неделю, привез две пары новеньких ободьев и несколько сот разнообразных впечатлений, среди них главное было:

[73] *Комнезам* – Комитет незаможних (неимущих) крестьян-бедняков (в РСФСР – комбеды).

– Вот не люблю я, знаешь, этих мужиков. У них нет того, чтобы для всех было, а только бы ему, паразиту. Сидит, понимаешь, зробыв соби колеса, а другой так пускай на чем хочет ездит. От некультурный народ эти мужики.

Софрон привел с хутора Козыря. Козырю было сорок лет, он осенял себя крестным знамением при всяком подходящем случае, был очень тих, вежлив и всегда улыбчиво оживлен. Он недавно вышел из сумасшедшего дома и до смерти дрожал при упоминании имени собственной супруги, которая и была виновницей неправильного диагноза губернских психиатров. Козырь был колесник. Он страшно обрадовался нашему предложению сделать для нас четыре колеса. Особенности его семейной жизни и блестящие задатки подвижничества подтолкнули его на чисто деловое предложение:

– Знаете, что, товарищи, спаси господи, позвали меня, старика, – знаете, что я вам скажу? Я у вас тут и жить буду.

– Так у нас же негде.

– Ничего, ничего, вы не беспокойтесь, я найду, и господь бог поможет. Теперь лето, а на зиму соберемся как-нибудь, вон в том сарайчике я устроюсь, я хорошо устроюсь…

– Ну, живите.

Козырь закрестился и немедленно расширил деловую сторону вопроса:

– Ободьев мы достанем. То Калина Иванович не знали, а я все знаю. Сами привезут, сами привезут мужички, вот увидите, господь нас не оставит.

– Да нам же больше не нужно, дядя.

– Как «не нужно», как «не нужно», спаси Бог?.. Вам не нужно, так людям нужно: как же может мужичок без колеса? Продадите – заработаете, мальчикам на пользу будет.

Калина Иванович рассмеялся и поддержал домогательство Козыря:

– Да черт с ним, нехай останется. В природе, знаешь, все так хорошо устроено, что и человек на что-нибудь пригодится.

Козырь сделался общим любимцем колонистов. К его религиозности относились как к особому виду сумасшествия, очень тяжелого для больного, но нисколько не опасного для окружающих. Даже больше: Козырь сыграл определенно положительную роль в воспитании отвращения к религии.

Он поселился в небольшой комнате возле спален. Здесь он был прекрасно укрыт от агрессивных действий его супруги, которая отличалась действительно сумасшедшим характером. Для ребят сделалось истинным наслаждением защищать Козыря от пережитков его прошлой жизни. Козыриха появлялась в колонии всегда с криком и проклятиями. Требуя возвращения мужа к семейному очагу, она обвиняла меня, колонистов, советскую власть и «этого босяка» Софрона в разрушении ее семейного счастья. Хлопцы с нескрываемой иронией доказывали ей, что Козырь ей в мужья не годится, что производство колес – гораздо более важное дело, чем семейное счастье. Сам Козырь в это время сидел, притаившись в своей комнате, и терпеливо ожидал, когда атака окончательно будет отбита. Только когда голос обиженной супруги раздавался уже за озером и от посылаемых ею пожеланий долетали только отдельные обрывки: «… сыны… чтоб вам… вашу голову…», только тогда Козырь появлялся на сцене:

– Спаси Христос, сынки! Такая неаккуратная женщина…

Несмотря на столь враждебное окружение, колесная мастерская начинала приносить доход. Козырь, буквально при помощи одного крестного знамения, умел делать солидные коммерческие дела; к нам без всяких хлопот привозили ободья и даже денег немедленно не требовали. Дело в том, что он действительно был замечательный колесник, и его продукция славилась далеко за пределами нашего района.

Наша жизнь стала сложнее и веселее. Калина Иванович все-таки посеял на нашей поляне десятин пять овса, в конюшне красовался Рыжий, на дворе стоял шарабан, единственным недостатком которого была его невиданная вышина: он поднимался над землей не меньше как на

сажень, и сидящему в его корзинке пассажиру всегда казалось, что влекущая шарабан лошадь помещается хотя и впереди, но где-то далеко внизу.

Мы развили настолько напряженную деятельность, что уже начинали ощущать недостаток в рабочей силе. Пришлось наскоро отремонтировать еще одну спальню-казарму, и скоро к нам прибыло подкрепление. Это был совершенно новый сорт.

К тому времени ликвидировалось многое число атаманов и батьков, и все несовершеннолетние соратники разных Левченок и Марусь, военная и бандитская роль которых не шла дальше обязанностей конюхов и кухонных мальчиков, присылались в колонию. Благодаря именно этому историческому обстоятельству в колонии появились имена: Карабанов, Приходько, Голос, Сорока, Вершнев, Митягин и другие.

[8] Характер и культура

Приход новых колонистов сильно расшатал наш некрепкий коллектив, и мы снова приблизились к «малине».

Наши первые воспитанники были приведены в порядок только для нужд самой первой необходимости. Последователи отечественного анархизма[74] еще менее склонны были подчиняться какому бы то ни было порядку. Нужно, однако, сказать, что открытое сопротивление и хулиганство по отношению к воспитательскому персоналу в колонии никогда не возрождалось. Можно думать, что Задоров, Бурун, Таранец и другие умели сообщить новеньким краткую историю первых горьковских дней. И старые и новые колонисты всегда демонстрировали уверенность, что воспитательский персонал не является силой, враждебной по отношению к ним. Главная причина такого настроения безусловно лежала в работе наших воспитателей, настолько самоотверженной и, очевидно, трудной, что она, естественно, вызывала к себе уважение. Поэтому колонисты, за очень редким исключением, всегда были в хороших отношениях с воспитателями, признавали необходимость работать и заниматься в школе, в сильной мере понимали, что все это вытекает из общих наших интересов. Лень и неохота переносить лишения у нас проявлялись в чисто зоологических формах и никогда не принимали формы протеста.

Мы отдавали себе отчет в том, что все это благополучие есть чисто внешняя форма дисциплины и что за ним не скрывается никакая, даже самая первоначальная культура.

Вопрос, почему колонисты продолжают жить в условиях нашей бедности и довольно тяжелого труда, почему они не разбегаются, разрешался, конечно, не только в педагогической плоскости. 1921 год для жизни на улице не представлял ничего завидного. Хотя наша губерния не была в списке голодающих,[75] но в самом городе все же было очень сурово и, пожалуй, голодно. Кроме того, в первые годы мы почти не получали квалифицированных беспризорных, привыкших к бродяжничеству на улице. Большею частью наши ребята были детьми из семьи, только недавно порвавшими с нею связь.

На городских окраинах, в запущенных бандитских селах за время войны и революции скопились многочисленные образования, оставшиеся после разложения семьи. В значительной мере это были старые уголовные семьи, которые еще при старом режиме поставляли пополнения в уголовные кадры, много было семей, ослабевших во время войны, много завелось продуктов социального разложения, как следствие смертей, эвакуаций, экзекуций, передвижений. Многие ребята привыкли бродить за полками: царскими, белыми, красными, петлюровскими, махновскими[76]. Это были авантюристы разных пошибов. Они приобрели большие навыки в употреблении упрощенно-анархистской логики, в презрении ко всякой собственности, в пренебрежении к жизни и к человеческой личности, к чистоте, к порядку, к закону.

Но среди этих привычек все же не было привычки одинокого бродяжничества, того, что потом составило главное содержание беспризорщины. Поэтому выход из колонии для многих колонистов был возможен только в форме перехода в какой-нибудь определенный коллектив, хотя бы и воровской, во всяком случае – не просто на улицу. А найти такой коллектив, связаться с ним под бдительным вниманием угрозыска было все же трудно. Поэтому кадры нашей колонии почти не терпели убыли.

---

[74] *Анархизм* – общественно-политическое течение, которое выступало за немедленное уничтожение всякой государственной власти.

[75] Имеется в виду голод в Поволжье и на Юге России в 1921–1922 гг.

[76] Речь идет о «полках» украинских политических деятелей: *Симона Васильевича Петлюры* (1879–1926), с февраля 1919 г. глава Директории (правительства Украины), в 1920 г. был выслан в Польшу; и *Нестора Ивановича Махно* (1889–1934) – анархист, в 1921 г. эмигрировал в Румынию.

Хлопцы наши представляли в среднем комбинирование очень ярких черт характера с очень узким культурным состоянием. Как раз таких и старались присылать в нашу колонию, специально предназначенную для трудновоспитуемых. Подавляющее большинство их было малограмотно или вовсе неграмотно, почти все привыкли к грязи и вшам, по отношению к другим людям у них *сложились постоянные защитно-угрожающие отношения, по отношению к себе наивысшим фасоном была* поза примитивного героизма.

Выделялись из всей этой толпы несколько человек более высокого интеллектуального уровня, как Задоров, Бурун, Ветковский, Братченко, а из вновь прибывших – Карабанов и Митягин. Остальные только очень постепенно и чрезвычайно медленно приобщались к приобретениям человеческой культуры, тем медленнее, чем мы были беднее и голоднее.

В первый год нас особенно удручало их постоянное стремление к ссоре друг с другом, страшно слабые коллективные связи, разрушаемые на каждом шагу из-за первого пустяка. В значительной мере это проистекало даже не из вражды, а все из той же позы героизма, не корректированной никаким политическим самочувствием. Хотя многие из них побывали в классово-враждебных лагерях, у них не было никакого ощущения принадлежности к тому или другому классу. Детей рабочих у нас почти не было, пролетариат был для них чем-то далеким и неизвестным, к крестьянскому труду большинство относилось с глубоким презрением, – не столько, впрочем, к труду, сколько к крестьянскому быту, крестьянской психике. Оставался, следовательно, широкий простор для всякого своеволия, для проявления одичавшей, припадочной в своем одиночестве личности.

Картина в общем была тягостная, но все же зачатки коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, потихоньку зеленели в нашем обществе, и эти зачатки во что бы то ни стало нужно было спасти, нельзя было новым пополнениям позволить приглушить эти драгоценные зеленя. Главной своей заслугой я считаю, что тогда я заметил это важное обстоятельство и по достоинству его оценил. Защита этих первых ростков потом оказалась таким невероятно трудным, таким бесконечно длинным и тягостным процессом, что, если бы я знал это заранее, я, наверное, испугался бы и отказался от борьбы. Хорошо было то, что я всегда ощущал себя накануне победы, для этого нужно было быть неисправимым оптимистом.

Каждый день моей тогдашней жизни обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние.

Вот идет все как будто благополучно. Воспитатели закончили вечером свою работу, прочитали книжку, просто побеседовали, поиграли, пожелали ребятам спокойной ночи и разошлись. Хлопцы остались в мирном настроении, приготовились укладываться спать. В моей комнате отбиваются последние удары дневного рабочего пульса, сидит еще Калина Иванович и по обыкновению занимается каким-нибудь обобщением, торчит кто-нибудь из любопытных колонистов, у дверей Братченко с Гудом приготовились к очередной атаке на Калину Ивановича по вопросам фуражным, и вдруг с криком врывается пацан:

– В спальне хлопцы режутся!

Я – бегом из комнаты. В спальне содом и крик. В углу две зверски ощерившиеся группы. Угрожающие жесты и наскоки перемешиваются с головокружительной руганью; кто-то кого-то «двигает» в ухо, Бурун отнимает у одного из героев финку, а издали ему кричат:

– А ты чего мешаешься? Хочешь получить мою расписку?

На кровати, окруженный толпой сочувствующих, сидит раненый и молча перевязывает куском простыни порезанную руку.

Я никогда не разнимал дерущихся, не старался их перекричать.

За моей спиной Калина Иванович испуганно шепчет:

– Ой, скорийше, скорийше, голубчику, бо вони ж, паразиты, порежут один одного…

Но я стою молча в дверях и наблюдаю. Постепенно ребята замечают мое присутствие и замолкают. Быстро наступающая тишина приводит в себя и самых разъяренных. Прячутся

финки и опускаются кулаки, гневные и матерные монологи прерываются на полуслове. Но я продолжаю молчать: внутри меня самого закипают гнев и ненависть ко всему этому дикому миру. Это – ненависть бессилия, потому что я очень хорошо знаю: сегодня не последний день.

Наконец в спальне устанавливается жуткая, тяжелая тишина, утихают даже глухие звуки напряженного дыхания.

Тогда вдруг взрываюсь я сам, взрываюсь и в приступе настоящей злобы и в совершенно сознательной уверенности, что так нужно:

– Ножи на стол! Да скорее, черт!..

На стол выкладываются ножи: финки, кухонные, специально взятые для расправы, перочинные и самоделковые, изготовленные в кузнице. Молчание продолжает висеть в спальне, *подавленное молчание обессиленной толпы*. Возле стола стоит и улыбается Задоров, прелестный, милый Задоров, который сейчас кажется мне единственным родным, близким человеком. Я еще коротко приказываю:

– Кистени!

– Один у меня, я отнял, – говорит Задоров.

Все стоят, опустив головы.

– Спать!..

Я не ухожу из спальни, пока все не укладываются.

На другой день ребята стараются не вспоминать вчерашнего скандала. Я тоже ничем не напоминаю о нем.

Проходит месяц-другой. В течение этого времени отдельные очаги вражды в каких-то тайных углах слабо чадят, и если пытаются разгореться, то быстро притушиваются в самом коллективе. Но вдруг опять разрывается бомба, и опять разъяренные, потерявшие человеческий вид колонисты гоняются с ножами друг за другом.

В один из вечеров я увидел, что мне необходимо прикрутить гайку, как у нас говорят. После одной из драк я приказываю Чоботу, одному из самых неугомонных рыцарей финки, идти в мою комнату. Он покорно бредет. У себя я ему говорю:

– Тебе придется оставить колонию.

– А куда я пойду?

– Я тебе советую идти туда, где позволено резаться ножами. Сегодня ты из-за того, что товарищ не уступил тебе место в столовой, пырнул его ножом. Вот и ищи такое место, где споры разрешаются ножом.

– Когда мне идти?

– Завтра утром.

Он угрюмо уходит. Утром, за завтраком, все ребята обращаются ко мне с просьбой: пусть Чобот останется, они за него ручаются.

– Чем ручаетесь?

Не понимают.

– Чем ручаетесь? Вот если он все-таки возьмет нож, что вы тогда будете делать?

– Тогда вы его выгоните.

– Значит, вы ничем не ручаетесь? Нет, он пойдет из колонии.

Чобот после завтрака подошел ко мне и сказал:

– Прощайте, Антон Семенович, спасибо за науку…

– До свиданья, не поминай лихом. Если будет трудно, приходи, но не раньше как через две недели.

Через месяц он пришел, исхудавший и бледный.

– Я вот пришел, как вы сказали.

– Не нашел такого места?

Он улыбнулся.

– Отчего «не нашел»? Есть такие места… Я буду в колонии, я не буду брать ножа в руки.
Колонисты любовно встретили нас в спальне:
– Все-таки простили! Мы ж говорили.

[9] «Есть еще лыцари на Украине»

В один из воскресных дней напился Осадчий. Его привели ко мне потому, что он буйствовал в спальне. Осадчий сидел в моей комнате и, не останавливаясь, нес какую то пьяно-обиженную чепуху. Разговаривать с ним было бесполезно. Я оставил его у себя и приказал ложиться спать. Он покорно заснул.

Но, войдя в спальню, я услышал запах спирта. Многие из хлопцев явно уклонялись от общения со мной. Я не хотел подымать историю с розыском виновных и только сказал:

– Не только Осадчий пьян. Еще кое-кто выпил.

Через несколько дней в колонии снова появились пьяные. Часть из них избегала встречи со мной, другие, напротив, в припадке пьяного раскаяния приходили ко мне и слезливо болтали и признавались в любви.

Они не скрывали, что были в гостях на хуторе.

Вечером в спальне поговорили о вреде пьянства, провинившиеся дали обещание больше не пить, я сделал вид, будто до конца доволен развязкой, и даже не стал никого наказывать. У меня уже был маленький опыт, и я хорошо знал, что в борьбе с пьянством нужно бить не по колонистам – нужно бить кого-то другого. Кстати, и этот другой был недалеко.

Мы были окружены самогонным морем. В самой колонии очень часто бывали пьяные из служащих и крестьян. В это же время я узнал, что Головань посылал ребят за самогоном. Головань и не отказывался:

– Да что ж тут такого?

Калина Иванович, который сам никогда не пил, раскричался на Голованя *прокурорской речью*:

– Ты понимаешь, паразит, что значит советская власть? Ты думаешь, советская власть для того, чтобы ты самогоном наливался?

Головань неловко поворачивался на шатком и скрипучем стуле и оправдывался:

– Да что ж тут такого? Кто не пьет, спросите… У всякого аппарат, и каждый пьет, сколько ему по аппетиту. Пускай советская власть сама не пьет…

– Какая советская власть?

– Да кажная. И в городе пьют, и у хохлов пьют.

– Вы знаете, кто здесь продает самогонку? – спросил я у Софрона.

– Да кто его знает, я сам никогда не покупал. Нужно – пошлешь кого-нибудь. А вам на что? Отбирать будете?

– А что же вы думаете? И буду отбирать…

– Хе, сколько уже милиция отбирала, и то ничего не вышло.

Он наклонился ко мне и зашептал:

– И милиция пьет, за две бутылки первача кажного купить можно.

На другой же день я в городе добыл мандат на беспощадную борьбу с самогоном на всей территории нашего сельсовета. Вечером мы с Калиной Ивановичем совещались. Калина Иванович был настроен скептически:

– Не берись ты за это грязное дело. Я тебе скажу, тут у них лавочка: председатель свой, понимаешь, Гречаный. А на хуторах, куда ни глянь, все Гречаные да Гречаные. Народ, знаешь, того, на конях не пашут, а все – волики. От ты посчитай: Гончаровка у них вот где! – Калина Иванович показал сжатый кулак. – Держуть, паразиты, и ничего не сделаешь.

– Не понимаю, Калина Иванович. А при чем тут самогонка?

– Ой, и чудак же ты, а еще освиченный[77] человек! Так власть же у них вся в руках. Ты их краще не чипай,[78] а то заедят. Заедят, понимаешь?

В спальне я сказал колонистам:

– Хлопцы, прямо говорю вам: не дам пить никому. И на хуторах разгоню эту самогонную банду. Кто хочет мне помочь?

Большинство замялось, но другие накинулись на мое предложение со страстью. Карабанов сверкал черными, огромными, как у коня, глазами:

– Это дуже[79] хорошее дело. Дуже хорошее. Этих граков[80] нужно трохи той… прижмать.

Я пригласил на помощь троих: Задорова, Волохова и Таранца. Поздно ночью в субботу мы приступили к составлению диспозиции. Вокруг моего ночника склонились над составленным мною планом хутора, и Таранец, запустивши руки в рыжие патлы, водил по бумаге веснушчатым носом и говорил:

– Нападем на одну хату, так в других попрячут. Троих мало.

– Разве так много хат с самогоном?

– Почти в каждой: у Мусия Гречаного варят, у Андрия Карповича варят, и у самого председателя Сергия Гречаного варят. Верхолы, так они все делают, и в городе бабы продают. Надо больше хлопцев, а то, знаете, понабивают нам морды – и все.

Волохов молча сидел в углу и зевал.

– Понабивают – как же! Возьмем одного Карабанова, и довольно. И пальцем никто не тронет. Я этих граков знаю. Они нашего брата боятся.

Волохов шел на операцию без увлечения. Он и в это время относился ко мне с некоторым отчуждением: не любил парень дисциплины. Но он был сильно предан Задорову и шел за ним, не проверяя никаких принципиальных положений.

Задоров, как всегда, спокойно и уверенно улыбался; он умел все делать, не растрачивая своей личности и не обращая в пепел ни одного грамма своего существа. И, как и всегда, я никому так не верил, как Задорову: так же, не растрачивая личности, Задоров может пойти на любой подвиг, если к подвигу его призовет жизнь.

И сейчас он сказал Таранцу:

– Ты не егози, Федор, говори коротко, с какой хаты начнем и куда дальше. А завтра видно будет. Карабанова нужно взять, это верно, он умеет с граками разговаривать, потому что и сам грак. А теперь идем спать, а то завтра нужно выходить пораньше, пока на хуторах не перепились. Так, Грицько?

– Угу, – просиял Волохов.

Мы разошлись. По двору гуляли Лидочка и Екатерина Григорьевна, и Лидочка сказала:

– Хлопцы говорят, что пойдете самогонку трусить? Ну на что это вам сдалось? Что это, педагогическая работа? Ну на что это похоже?

– Вот это и есть педагогическая работа. Пойдемте завтра с нами.

– А что ж, думаете, испугалась? И пойду. Только это не педагогическая работа…

– Так вы идете?

– Иду.

Екатерина Григорьевна отозвала меня в сторону:

– Ну для чего вы берете этого ребенка?

– Ничего, ничего, – закричала Лидия Петровна, – я все равно пойду!

Таким образом у нас составилась комиссия из пяти человек.

---

[77] *Освиченный* (*укр.*) – образованный.

[78] *Не чипай* (*укр.*) – не тронь.

[79] *Дуже* – очень.

[80] *Грак* (*укр.*) – грач, в переносном смысле – некультурный, жадный, грубый человек.

Часов в семь утра мы постучали в ворота Андрея Карповича Гречаного, ближайшего нашего соседа. Наш стук послужил сигналом для сложнейшей собачьей увертюры, которая продолжалась минут пять.

Только после увертюры началось самое действие, как и полагается.

Оно началось выходом на сцену деда Андрея Гречаного, мелкого старикашки с облезлой головой, но сохранившего аккуратно подстриженную бородку. Дед Андрей спросил нас неласково:

– Чего тут добиваетесь?

– У вас есть самогонный аппарат, мы пришли его уничтожить, – сказал я. – Вот мандат от губмилиции…

– Самогонный аппарат? – спросил дед Андрей растерянно, бегая острыми взглядами по нашим лицам и живописным одеждам колонистов.

Но в этот момент бурно вступил фортиссимо собачий оркестр, потому что Карабанов успел за спиной деда продвинуться ближе к заднему плану и вытянуть предусмотрительно захваченным «дрючком» рыжего кудлатого пса, ответившего на это выступление оглушительным соло на две октавы выше обыкновенного собачьего голоса.

Мы бросились в прорыв, разгоняя собак. Волохов закричал на них властным басом, и собаки разбежались по углам двора, оттеняя дальнейшие события маловыразительной музыкой обиженного тявканья. Карабанов был уже в хате, и когда мы туда вошли с дедом, он победоносно показывал нам искомое: самогонный аппарат.

– Ось![81]

Дед Андрей топтался по хате и блестел, как в опере, новеньким молескиновым пиджачком.

– Самогон вчера варили? – спросил Задоров.

– Та вчера, – сказал дед Андрей, растерянно почесывая бородку и поглядывая на Таранца, извлекающего из-под лавки в переднем углу полную четверть розовато-фиолетового нектара.

Дед Андрей вдруг обозлился и бросился к Таранцу, оперативно правильно рассчитывая, что легче всего захватить его в тесном углу, перепутанном лавками, иконами и столом. Таранца он захватил, но четверть через голову деда спокойно принял Задоров, а деду досталась издевательски открытая, обворожительная улыбка Таранца:

– А что такое, дедушка?

– Як вам не стыдно! – с чувством закричал дед Андрей. – Совести на вас нету, по хатам ходите, грабите! И дивчат с собою привели. Колы вже покой буде людям, колы вже на вас лыха годына посядэ?

– Э, да вы, диду, поэт, – сказал с оживленной мимикой Карабанов и, подпершись дрючком, застыл перед дедом в декоративно-внимательной позе.

– Вон из моей хаты! – закричал дед Андрей и, схвативши у печи огромный рогач, неловко стукнул им по плечу Волохова.

Волохов засмеялся и поставил рогач на место, показывая деду новую деталь событий:

– Вы лучше туда гляньте.

Дед глянул и увидел Таранца, слезающего с печи со второй четвертью самогона, улыбающегося по-прежнему искренно и обворожительно. Дед Андрей сел на лавку, опустил голову и махнул рукой.

К нему подсела Лидочка и ласково заговорила:

– Андрию Карповичу! Вы ж знаете: запрещено ж законом варить самогонку. И хлеб же на это пропадает, а кругом же голод, вы же знаете.

---

[81] *Ось!* – Вот!

– Голод у ледаща.[82] А хто робыв, у того не буде голоду.

– А вы, диду, робылы? – звонко и весело спросил Таранец, сидя на печи. – А може, у вас робыв Степан Нечипоренко?

– Степан?

– Ага ж, Степан. А вы его выгнали и не заплатили и одежи не далы, так он в колонию просится.

Таранец весело щелкнул языком на деда и соскочил с печи.

– Куда все это девать? – спросил Задоров.

– Разбейте все на дворе.

– И аппарат?

– И аппарат.

Дед не вышел на место казни, – он остался в хате выслушивать ряд экономических, психологических и социальных соображений, которые с таким успехом начала перед ним развивать Лидия Петровна. Хозяйские интересы на дворе представляли собаки, сидевшие по углам, полные негодования. Только когда мы выходили на улицу, некоторые из них выразили запоздавший бесцельный протест.

Лидочку Задоров предусмотрительно вызвал из хаты:

– Идите с нами, а то дед Андрий из вас колбас наделает…

Лидочка выбежала, воодушевленная беседой с дедом Андреем:

– А вы знаете, он все понял! Он согласился, что варить самогон – преступление.

Хлопцы ответили смехом. Карабанов прищурился на Лидочку:

– Согласился? От здорово! Як бы вы посидели с ним подольше, то он и сам разбил бы аппарат? Правда ж?

– Скажите спасибо, что бабы его дома не было, – сказал Таранец, – до церкви пошла, в Гончаровку. Про то вам еще с Верхолыхой поговорить придется.

Лука Семенович Верхола часто бывал в колонии по разным делам, и мы иногда обращались к нему по нужде: то хомут, то бричка, то бочка. Лука Семенович был талантливейший дипломат, разговорчивый, услужливый и вездесущий. Он был очень красив и умел холить курчавую ярко-рыжую бороду. У него было три сына: старший, Иван, был неотразим на пространстве радиусом десять километров, потому что играл на трехрядной венской гармонике и носил умопомрачительные зеленые фуражки.

Лука Семенович встретил нас приветливо:

– А, соседи дорогие! Пожалуйте, пожалуйте! Слышал, слышал, самовары шукаете? Хорошее дело, хорошее дело. Сидайте! Молодой человек, сидайте ж на ослони ось. Ну, как? Достали каменщиков для Трепке? А то я завтра поеду на Бригадировку, так привезу вам. Ох, знаете, и каменщики ж!.. Та чего ж вы, молодой человек, не сидаете? Та нэма в мэнэ аппарата, нэма, я таким делом не займаюсь. Низзя! Что вы, как можно? Раз совецкая власть сказала – низзя, я ж понимаю, как же… Жинко, ты ж там не барыся, – дорогие ж гости!

На столе появилась миска, до краев полная сметаны, и горка пирогов с творогом. Лука Семенович не упрашивал, не лебезил, не унижался. Он ворковал приветливым открытым басом, у него были манеры хорошего хлебосольного барина. Я заметил, как при виде сметаны дрогнули сердца колонистов: Волохов и Таранец глаз не могли отвести от дорогого угощения, Задоров стоял у двери и, краснея, улыбался, понимая полную безвыходность положения. Карабанов сидел рядом со мной и, улучив подходящий момент, шептал:

– От и сукин же сын!.. Ну, що ты робытымешь? Ий-богу, прийдеться исты. Я не вдержусь, ий-богу, не вдержусь!

Лука Семенович поставил Задорову стул:

---

[82] *Ледащо* – лодырь.

– Кушайте, дорогие соседи, кушайте! Можно было б и самогончику достать, так вы ж по такому делу…

Задоров сел против меня, опустил глаза и закусил полпирога, обливая свой подбородок сметаной; у Таранца до самых ушей протянулись сметанные усы; Волохов пожирал пирог за пирогом без видимых признаков какой-либо эмоции.

– Ты еще подсыпь пирогов, – приказал Лука Семенович жене. – Сыграй, Иване.

– Та в церкви ж служиться, – сказала жинка.

– Это ничего, – возразил Лука Семенович, – для дорогих гостей можно.

Молчаливый, гладкий красавец Иван заиграл «Светит месяц». Карабанов лез под лавку от смеха:

– От так попали в гости!..

После угощения разговорились, Лука Семенович с великим энтузиазмом поддерживал наши планы в имении Трепке и готов был прийти на помощь всеми своими хозяйскими силами:

– Вы не сидить тут, в лесу. Вы скорийше туды перебирайтесь, там хозяйского глазу нэма. И берить мельницу, берить мельницу. Этой самый комбинат – он не умееть этого дела руководить. Мужики жалуются, дуже жалуются. Надо бывает крупчатки змолоть на Пасху, на пироги ж, так месяц целый ходишь-ходишь, не добьешься. Мужик любит пироги исты, а яки ж пироги, когда нету самого главного – крупчатки?

– Для мельницы у нас еще пороху мало, – сказал я.

– Чего там «мало»? Люди ж помогут… Вы знаете, как вас тут народ уважает. Прямо все говорят: вот хороший человек…

В этот лирический момент в дверях появился Таранец, и в хате раздался визг перепуганной хозяйки. У Таранца в руках была половина великолепного самогонного аппарата, самая жизненная его часть – змеевик. Как-то мы и не заметили, что Таранец оставил нашу компанию.

– Это на чердаке, – сказал Таранец, – там и самогонка есть. Еще теплая.

Лука Семенович захватил бороду кулаком и сделался серьезен – на самое короткое мгновение. Он сразу же оживился, подошел к Таранцу и остановился против него с улыбкой. Потом почесал за ухом и прищурил на меня один глаз:

– С этого молодого человека толк будет. Ну, что ж, раз такое дело, ничего не скажу, ничего… и даже не обижаюсь. Раз по закону, значить – по закону. Поломаете, значить? Ну что ж… Иван, ты им помоги…

Но Верхолыха не разделила лояльности своего мудрого супруга. Она вырвала у Таранца змеевик и закричала:

– Та хто вам дасть, хто вам дасть ломать?! Зробите, а тоди – ломайте! Босяки чертови, иды, бо як двыну по голови…

Монолог Верхолыхи оказался бесконечно длинен. Притихшая до того в переднем углу Лидочка пыталась открыть спокойную дискуссию о вреде самогона, но Верхолыха обладала замечательными легкими. Уже были разбиты бутылки с самогоном, уже Карабанов железным ломом доканчивал посреди двора уничтожение аппарата, уже Лука Семенович приветливо прощался с нами и просил заходить, уверяя, что он не обижается, уже Задоров пожал руку Ивана, и уже Иван что-то захрипел на гармонике, а Верхолыха все кричала и плакала, все находила новые краски для характеристики нашего поведения и для предсказания нашего печального будущего. В соседних дворах стояли неподвижные бабы, выли и лаяли собаки, прыгая через протянутые во дворе проволоки, и вертели головами хозяева, вычищая в конюшнях.

Мы выскочили на улицу, и Карабанов повалился на ближайший плетень.

– Ой, не можу, ий-богу, не можу! От гости, так гости!.. Так як вона каже? Щоб вам животы попучило вид тией сметаны? Як у тебя с животом, Волохов?

В этот день мы уничтожили шесть самогонных аппаратов. С нашей стороны потерь не было. Только выходя из последней хаты, мы наткнулись на председателя сельсовета, Сер-

гея Петровича Гречаного. Председатель был похож на казака Мамая:[83] примасленная черная голова и тонкие усы, закрученные колечками. Несмотря на свою молодость, он был самым исправным хозяином в округе и считался очень разумным человеком. Председатель крикнул нам еще издали:

– А ну, постойте!

Постояли.

– Драствуйте, с праздником… А как же это так, разрешите полюбопытствовать, на каком мандате основано такое самовольное втручение,[84] что разбиваете у людей аппараты, которые вы права не имеете?

Он еще больше закрутил усы и пытливо рассматривал наши незаконные физиономии.

Я молча протянул ему мандат на «самовольное втручение». Он долго вертел его в руках и недовольно возвратил мне:

– Это, конечно, разрешение, но только и люди обижаются. Если так будет делать какая-то колония, тогда совецкой власти будет нельзя сказать, чтобы благополучно могло кончиться. Я и сам борюсь с самогонением.

– И у вас же аппарат есть, – сказал тихо Таранец, разрешив своим всевидящим гляделкам бесцеремонно исследовать председательское лицо.

Председатель свирепо глянул на оборванного Таранца:

– Ты! Твое дело – сторона. Ты кто такой? Колоньский? Мы это дело доведем до самого верху, и тогда окажется, почему председателя власти на местах без всяких препятствий можно оскорблять разным преступникам.

Мы разошлись в разные стороны.

Наша экспедиция принесла большую пользу. На другой день возле кузницы Задоров говорил нашим клиентам:

– В следующее воскресенье мы еще не так сделаем: вся колония – пятьдесят человек – пойдет.

Селяне кивали бородами и соглашались:

– Та оно, конешно, что правильно. Потому же и хлеб расходуется, и раз запрещено, так оно правильно.

Пьянство в колонии прекратилось, но появилась новая беда – картежная игра. Мы стали замечать, что в столовой тот или иной колонист обедает без хлеба, уборка или какая-нибудь другая из неприятных работ совершается не тем, кому следует.

– Почему сегодня ты убираешь, а не Иванов?

– Он меня попросил.

Работа по просьбе становилась бытовым явлением, и уже сложились определенные группы таких «просителей». Стало увеличиваться число колонистов, уклоняющихся от пищи, уступающих свои порции товарищам.

В детской колонии не может быть большего несчастья, чем картежная игра. Она выводит колониста из общей сферы потребления и заставляет его добывать дополнительные средства, а единственным путем для этого является воровство. Я поспешил броситься в атаку на этого нового врага.

Из колонии убежал Овчаренко, веселый и энергичный мальчик, уже успевший сжиться с колонией. Мои расспросы, почему убежал, ни к чему не привели. На другой день я встретил его в городе на толкучке, но, как его ни уговаривал, он отказался возвратиться в колонию. Беседовал он со мной в полном смятении.

---

[83] *Мамай* (? – 1380) – татарский темник, фактический правитель Золотой Орды; потерпел поражение от московского князя *Дмитрия Донского* в битвах на р. Вожа (1378 г.) и на Дону (Куликовская битва 1380 г.). *Макаренко* ошибочно или в шутку называет *Мамая* казаком.

[84] *Втручение* – вмешательство.

Карточный долг в кругу наших воспитанников считался долгом чести. Отказ от выплаты этого долга мог привести не только к избиению и другим способам насилия, но и к общему презрению.

Возвратившись в колонию, я вечером пристал к ребятам:

– Почему убежал Овчаренко?

– Откуда же нам знать?

– Вы знаете.

Молчание.

В ту же ночь, вызвав на помощь Калину Ивановича, я произвел общий обыск. Результаты меня поразили: под подушками, в сундучках, в коробках, в карманах у некоторых колонистов нашлись целые склады сахару. Самым богатым оказался Бурун: у него в сундуке, который он с моего разрешения сам сделал в столярной мастерской, нашлось больше тридцати фунтов. Но интереснее всего была находка у Митягина. Под подушкой, в старой барашковой шапке, у него было спрятано на пятьдесят рублей медных и серебряных денег.

Бурун чистосердечно и с убитым видом признался:

– В карты выиграл.

– У колонистов?

– Угу!

Митягин ответил:

– Не скажу.

Главные склады сахару, каких-то вещей, кофточек, платков, сумочек хранились в комнате, в которой жили три наших девочки: Оля, Раиса и Маруся. Девочки отказались сообщить, кому принадлежат запасы. Оля и Маруся плакали, Раиса отмалчивалась.

Девушек в колонии было три. Все они были присланы комиссией за воровство в квартирах. Одна из них, Оля Воронова, вероятно, попалась случайно в неприятную историю – такие случайности часто бывают у малолетних прислуг. Маруся Левченко и Раиса Соколова были очень развязны и распущенны, ругались и участвовали в пьянстве ребят и в картежной игре, которая главным образом и происходила в их комнате. Маруся отличалась невыносимо истеричным характером, часто оскорбляла и даже била своих подруг по колонии, с хлопцами тоже всегда была в ссоре по всяким вздорным поводам, считала себя «пропащим» человеком и на всякое замечание и совет отзывалась однообразно:

– Чего вы стараетесь? Я – человек конченый.

Раиса была очень толста, неряшлива, ленива и смешлива, но далеко не глупа и сравнительно образованна. Она когда-то была в гимназии, и наши воспитательницы уговаривали ее готовиться на рабфак. Отец ее был сапожником в нашем городе, года два назад его зарезали в пьяной компании, мать пила и нищенствовала. Раиса утверждала, что это не ее мать, что ее в детстве подбросили к Соколовым, но хлопцы уверяли, что Раиса фантазирует:

– Она скоро скажет, что ее папаша принц был.

Мать Раисы как-то пришла в колонию, узнала, что дочка отказывается от дочерних чувств, и напала на Раису со всей страстью пьяной бабы. Ребята насилу выставили ее.

Раиса и Маруся держали себя независимо по отношению к мальчикам и пользовались с их стороны некоторым уважением, как старые и опытные «блатнячки». Именно поэтому им были доверены важные детали темных операций Митягина и других.

С прибытием Митягина блатной элемент в колонии усилился и количественно и качественно.

Митягин был квалифицированный вор, ловкий, умный, удачливый и смелый. При всем том он казался чрезвычайно симпатичным. Ему было лет семнадцать, а может быть, и больше.

В его лице была неповторимая «особая примета» – ярко-белые брови, сложенные из совершенно седых густых пучков. По его словам, эта примета часто мешала успеху его пред-

приятий. Тем не менее ему и в голову не приходило, что он может заняться каким-либо другим делом, кроме воровства. В самый день своего прибытия в колонию он очень свободно и дружелюбно разговаривал со мной вечером:

– О вас хорошо говорят ребята, Антон Семенович.

– Ну, и что же?

– Это славно. Если ребята вас полюбят, это для них легче.

– Значит, и ты меня должен полюбить.

– Да нет… я долго в колонии жить не буду.

– Почему?

– Да на что? Все равно буду вором.

– От этого можно отвыкнуть.

– Можно, да я считаю, что незачем отвыкать.

– Ты просто ломаешься, Митягин.

– Ни чуточки не ломаюсь. Красть интересно и весело. Только это нужно умеючи делать, и потом – красть не у всякого. Есть много таких гадов, у которых красть сам бог велел. А есть такие люди – у них нельзя красть.

– Это ты верно говоришь, – сказал я Митягину, – только беда главная не для того, у кого украли, а для того, кто украл.

– Какая же беда?

– А такая: привык ты красть, отвык работать, все тебе легко, привык пьянствовать, остановился на месте: босяк – и все. Потом в тюрьму попадешь, а там еще куда…

– Будто в тюрьме не люди. На воле много живут хуже, чем в тюрьме. Этого не угадаешь.

– Ты слышал об Октябрьской революции?

– Как же не слышал! Я и сам походил за Красной гвардией.

– Ну вот, теперь людям будет житье не такое, как в тюрьме.

– Это еще кто его знает, – задумался Митягин. – Сволочей все равно до черта осталось. Они свое возьмут не так, так иначе. Посмотрите, кругом колонии какая публика! Ого!

Когда я громил картежную организацию колонии, Митягин отказался сообщить, откуда у него шапка с деньгами.

– Украл?

Он улыбнулся.

– Какой вы чудак, Антон Семенович!.. Да, конечно же, не купил. Дураков еще много на свете. Эти деньги все дураками снесены в одно место, да еще с поклонами отдавали толстопузым мошенникам. Так чего я буду смотреть? Лучше я себе возьму. Ну, и взял. Вот только в вашей колонии и спрятать негде. Никогда не думал, что вы будете обыски устраивать…

– Ну, хорошо. Деньги эти я беру для колонии. Сейчас составим акт и заприходуем. Пока не о тебе разговор.

Я заговорил с ребятами о кражах:

– Игру в карты я решительно запрещаю. Больше вы играть в карты не будете. Играть в карты – значит обкрадывать товарища.

– Пусть не играют.

– Играют по глупости. У нас в колонии многие колонисты голодают, не едят сахара, хлеба. Овчаренко из-за этих самых карт ушел из колонии, теперь ходит – плачет, пропадает на толкучке.

– Да, с Овчаренко… это нехорошо вышло, – сказал Митягин.

Я продолжал:

– Выходит так, что в колонии защищать слабого товарища некому. Значит, защита лежит на мне. Я не могу допускать, чтобы ребята голодали и теряли здоровье только потому, что подошла какая-то дурацкая карта. Я этого не допущу. Вот и выбирайте. Мне противно обыс-

кивать ваши спальни, но когда я увидел в городе Овчаренко, как он плачет и погибает, так я решил с вами не церемониться. А если хотите, давайте договоримся, чтобы больше не играть. Можете дать честное слово? Я вот только боюсь… насчет чести у вас, кажется, кишка тонка: Бурун давал слово…

Бурун вырвался вперед:

– Неправда, Антон Семенович, стыдно вам говорить неправду!.. Если вы будете говорить неправду, тогда нам… Я про карты никакого слова не давал.

– Ну, прости, верно, это я виноват, не догадался сразу с тебя и на карты взять слово, потом еще на водку…

– Я водки не пью.

– Ну, добре, кончено. Теперь как же?

Вперед медленно выдвигается Карабанов. Он неотразимо ярок, грациозен и, как всегда, чуточку позирует. От него несет выдержанной в степях воловьей силой, и он как будто ее нарочно сдерживает.

– Хлопцы, тут дело ясное. Товарищей обыгрывать нечего. Вы хоть обижайтесь, хоть что, я буду против карт. Так и знайте: ни в чем не засыплю, а за карты засыплю, а то и сам возьму за вязы, трохы подержу. Потому что я бачив Овчаренка, когда он уходил, – можно сказать, человека в могилу загоняем: Овчаренко, сами знаете, без воровского хисту.[85] Обыграли его Бурун с Раисой. Я считаю: нехай идут и шукают, и пусть не приходят, пока не найдут.

Бурун горячо согласился.

– Только на биса мне Раиса? Я и сам найду.

Хлопцы заговорили все сразу. Всем было по сердцу найденное соглашение. Бурун собственноручно конфисковал все карты и бросил в ведро. Калина Иванович весело отбирал сахар:

– Вот спасибо! Экономию сделали.

Из спальни меня проводил Митягин:

– Мне уйти из колонии?

Я ему грустно ответил:

– Нет, чего ж, поживи еще.

– Все равно красть буду.

– Ну и черт с тобой, кради. Не мне пропадать, а тебе.

Он испуганно отстал.

На другое утро Бурун отправился в город искать Овчаренко. Хлопцы тащили за ним Раису. Карабанов ржал на всю колонию и хлопал Буруна по плечам:

– Эх, есть еще лыцари на Украине!

Задоров выглядывал из кузницы и скалил зубы. Он обратился ко мне, как всегда, по-приятельски:

– Сволочной народ, а жить с ними можно.

– А ты кто? – спросил его свирепо Карабанов.

– Бывший потомственной скокарь,[86] а теперь кузнец трудовой колонии имени Максима Горького, Александр Задоров, – вытянулся он.

– Вольно! – грассируя, сказал Карабанов и гоголем прошелся мимо кузницы.

К вечеру Бурун привел Овчаренко, счастливого и голодного.

---

[85] *Хист* – талант.

[86] *Скокарь* (*жарг.*) – грабитель.

[10] «Подвижники соцвоса»

Таковых, считая в том числе и меня, было пятеро. *Назвал нас «подвижниками соцвоса» товарищ Гринько*.[87] Сами мы не только так никогда себя не называли, но никогда не думали, что мы совершаем подвиг. Не думали так в начале существования колонии, не думали и тогда, когда колония праздновала свою восьмую годовщину.

Слова Гринько имели в виду не только работников колонии имени Горького, поэтому в глубине души мы считали эти слова крылатой фразой, необходимой для поддержания духа работников детских домов и колоний.

В то время много было подвига в советской жизни, в революционной борьбе, а наша работа слишком была скромна и в своих выражениях и в своей удаче.

Люди мы были самые обычные, и у нас находилась пропасть разнообразных недостатков. И дела своего мы, собственно говоря, не знали: наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путаной мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы различали обрывки контуров будущей педагогической жизни.

О каждом нашем шаге можно было сказать что угодно, настолько наши шаги были случайны. Ничего не было бесспорного в нашей работе. А когда мы начинали спорить, получалось еще хуже: в наших спорах почему-то не рождалась истина.

Были у нас только две вещи, которые не вызывали сомнений: наша твердая решимость не бросать дела, довести его до какого-то конца, пусть даже и печального. И было еще вот это самое «бытие» – у нас в колонии и вокруг нас.

Когда в колонию приехали Осиповы, они очень брезгливо отнеслись к колонистам. По нашим правилам, дежурный воспитатель обязан был обедать вместе с колонистами. И Иван Иванович и его жена решительно мне заявили, что они обедать с колонистами за одним столом не будут, потому что не могут пересилить своей брезгливости.

Я им сказал:

– Там будет видно.

В спальне во время вечернего дежурства Иван Иванович никогда не садился на кровать воспитанника, а ничего другого здесь не было. Так он и проводил свое вечернее дежурство на ногах. Иван Иванович и его жена говорили мне:

– Как вы можете сидеть на этой постели! Она же вшивая.

Я им говорил:

– Это ничего, как-нибудь образуется: вши выведутся, или еще как-нибудь…

Через три месяца Иван Иванович не только уплетал за одним столом с колонистами, но даже потерял привычку приносить с собой собственную ложку, а брал обыкновенную деревянную из общей кучи на столе и проводил по ней для успокоения пальцами.

А вечером в спальне в задорном кружке хлопцев Иван Иванович сидел на кровати и играл в «вора и доносчика». Игра состояла в том, что всем играющим раздавались билетики с надписями: «вор», «доносчик», «следователь», «судья», «кат»[88] и так далее. Доносчик объявлял о выпавшем на его долю счастье, брал в руки жгут и старался угадать, кто вор. Все протягивали к нему руки, и из них нужно было ударом жгута отметить воровскую руку. Обычно он попадал на судью или следователя, и эти обиженные его подозрением честные граждане колотили доносчика по вытянутой руке согласно установленному тарифу за оскорбление. Если за следующим разом доносчик все-таки угадывал вора, его страдания прекращались, и начинались

[87] *Гринько Григорий Федорович* (1890–1938) – нарком просвещения УССР в 1920–1922 гг.

[88] *Кат* (*укр.*) – палач.

страдания вора. Судья приговаривал: пять горячих, десять горячих, пять холодных. Кат брал в руки жгут, и совершалась казнь.

Так как роли играющих все время менялись и вор в следующем туре превращался в судью или ката, то вся игра имела главную прелесть в чередовании страдания и мести. Свирепый судья или безжалостный кат, делаясь доносчиком или вором, получал сторицею и от действующего судьи, и от действующего ката, которые теперь вспоминали ему все приговоры и все казни.

Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна тоже играли в эту игру с хлопцами, но хлопцы относились к ним по-рыцарски: назначали в случае воровства три-четыре холодных, кат делал во время казни самые нежные рожи и только поглаживал жгутом нежную женскую ладонь.

Играя со мной, ребята в особенности интересовались моей выдержкой, поэтому мне ничего другого не оставалось, как бравировать. В качестве судьи я назначал ворам такие нормы, что даже каты приходили в ужас, а когда мне приходилось приводить в исполнение приговоры, я заставлял жертву терять чувство собственного достоинства и кричать:

– Антон Семенович, нельзя же так!

Но зато и мне доставалось: я всегда уходил домой с опухшей левой рукой; менять руки у мужчин считалось неприличным, а правая рука нужна была мне для писания.

Иван Иванович малодушно демонстрировал женскую линию тактики, и ребята к нему относились сначала деликатно. Я сказал как-то Ивану Ивановичу, что такая политика неверна: наши хлопцы должны расти выносливыми и смелыми. Они не должны бояться опасностей, тем более физического страдания. Иван Иванович со мной не согласился.

Когда в один из вечеров я оказался в одном круге с ним, я в роли судьи приговорил его к двенадцати горячим, а в следующем туре, будучи катом, безжалостно дробил его руку свистящим жгутом. Он обозлился и отомстил мне. Кто-то из моих «корешков» не мог оставить такое поведение Ивана Ивановича без возмездия и довел его до перемены руки.

Иван Иванович в следующий вечер пытался увильнуть от участия в «этой варварской игре», но общая ирония колонистов пристыдила его, и в дальнейшем Иван Иванович с честью выдерживал испытание, не подлизывался, когда бывал судьей, и не падал духом в роли доносчика или вора.

Часто Осиповы жаловались, что много вшей приносят домой. Я сказал им:

– Со вшами нужно бороться не дома, а в спальнях…

Мы и боролись. С большими усилиями мы добились двух смен белья, двух костюмов. Костюмы эти составляли «латку на латке», как говорят украинцы, но все же они выпаривались, и насекомых оставалось в них минимальное количество. Вывести их совершенно нам удалось не так скоро благодаря постоянному прибытию новеньких, общению с селянами и другим причинам.

Официальным образом работа воспитателей делилась на главное дежурство, рабочее дежурство и вечернее дежурство. Кроме того, по утрам воспитатели занимались в школе.

Главное дежурство представляло собой каторгу от пяти часов утра до звонка «спать». Главный дежурный руководил всем днем, контролировал выдачу пищи, следил за выполнением работы, разбирал всякие конфликты, мирил драчунов, уговаривал протестантов, выписывал продукты и проверял кладовую Калины Ивановича, следил за сменой белья и одежды. Работы главному дежурному было так много, что уже в начале второго года в помощь воспитателю стали дежурить старшие колонисты, надевая красные повязки на левый рукав.

Рабочий дежурный воспитатель просто принимал участие в какой-нибудь работе, обыкновенно там, где работало более всего колонистов или где было больше новеньких. Участие воспитателя в работе было участием реальным, иначе в наших условиях было бы невозможно. Воспитатели работали в мастерских, на заготовках дров, в поле и в огороде, по ремонту.

Вечернее дежурство оказалось скоро простой формальностью: вечером в спальнях собирались все воспитатели – и дежурные, и не дежурные. Это не было тоже подвигом: нам некуда было пойти, кроме спален колонистов. В наших пустых квартирах было и неуютно и немного страшно по вечерам при свете наших ночников, а в спальнях после вечернего чая нас с нетерпением ожидали знакомые остроглазые веселые рожи колонистов с огромными запасами всяких рассказов, небылиц и былей, всяких вопросов: злободневных, философских, политических и литературных, с разными играми, начиная от «кота и мышки» и кончая «вором и доносчиком». Тут же разбирались и разные случаи нашей жизни, подобные вышеописанным, перемывались косточки соседей-хуторян, проектировались детали ремонта и будущей нашей счастливой жизни во второй колонии.

Иногда Митягин рассказывал сказки. Он был удивительный мастер на сказки, рассказывал их умеючи, с элементами театральной игры и богатой мимикой. Митягин любил малышей, и его сказки доставляли им особенное наслаждение. В его сказках почти не было чудесного: фигурировали глупые мужики и умные мужики, растяпы-дворяне и хитроумные мастеровые, удачливые, смелые воры и одураченные полицейские, храбрые, победительные солдаты и тяжелые, глуповатые попы.

Вечерами в спальнях мы часто устраивали общие чтения. У нас с первого дня образовалась библиотека, для которой книги я покупал и выпрашивал в частных домах. К концу зимы у нас были почти все классики и много специальной политической и сельскохозяйственной литературы. Удалось собрать в запущенных складах губнаробраза много популярных книжек по разным отраслям знания.

Читать книги любили многие колонисты, но далеко не все умели осиливать книжку. Поэтому мы и вели общие чтения вслух, в которых обыкновенно участвовали все. Читали либо я, либо Задоров, обладавший прекрасной дикцией. В течение первой зимы мы прочитали многое из Пушкина, Короленко, Мамина-Сибиряка, Вересаева и в особенности Горького.[89]

Горьковские вещи в нашей среде производили сильное, но двойственное впечатление. Карабанов, Таранец, Волохов и другие восприимчивее были к горьковскому романтизму и совершенно не хотели замечать горьковского анализа. Они с горящими глазами слушали «Макара Чудру», ахали и размахивали кулаками перед образом Игната Гордеева и скучали над трагедией «Деда Архипа и Леньки». Карабанову в особенности понравилась сцена, когда старый Гордеев смотрит на уничтожение ледоходом своей «Боярыни». Семен напрягал все мускулы лица и голосом трагика восхищался:

– Вот это человек! Вот если бы такие все люди были!

С таким же восторгом он слушал историю гибели Ильи в повести «Трое».

– Вот молодец, так молодец! Вот это смерть: головою об камень…

Митягин, Задоров, Бурун снисходительно посмеивались над восторгом наших романтиков и задирали их за живое:

– Слушаете, олухи, а ничего не слышите.

– Я не слышу?

– А то слышишь? Ну, чего такого хорошего – головою об камень? Илья этот самый – дурак и слякоть… Какая-то там баба скривилась на него, так он и слезу пустил. Я на его месте еще б одного купца задавил, их всех давить нужно, и твоего Гордеева тоже.

---

[89] *Пушкин Александр Сергеевич* (1799–1837), великий русский писатель и поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель русского литературного языка; *Короленко Владимир Галактионович* (1853–1921), русский писатель и публицист, почетный академик Петербургской АН (1900–1902), почетный академик Российской АН (1918); *Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович* (*настоящая фамилия Мамин*) (1852–1912), русский писатель; *Вересаев Викентий Викентьевич* (*настоящая фамилия Смидович*) (1867–1945), русский, советский писатель; *Горький Максим* (*настоящие имя и фамилия Алексей Максимович Пешков*) (1868–1936), русский, советский писатель, общественный деятель, литературный критик и публицист, инициатор создания и первый председатель Правления Союза писателей СССР.

Обе стороны сходились только в оценке Луки «На дне». Карабанов вертел башкой:

– Нет, такие старикашки – вредные. Зудит-зудит, а потом взял и смылся, и нет его. Я таких тоже знаю.

– Лука этот умный, стерва, – говорит Митягин. – Ему хорошо, он все понимает, так он везде свое возьмет: там схитрит, там украдет, а там прикинется добрым. Так и живет.

Сильно поразили всех «Детством» и «В людях». Их слушали, затаив дыхание, и просили читать «хоть до двенадцати». Сначала не верили мне, когда я рассказал действительную историю жизни Максима Горького, были ошеломлены этой историей и внезапно увлеклись вопросом:

– Значит, выходит, Горький вроде нас? Вот, понимаешь, здóрово!

Этот вопрос их волновал глубоко и радостно.

Жизнь Максима Горького стала как будто частью нашей жизни. Отдельные ее эпизоды сделались у нас образцами для сравнений, основаниями для прозвищ, транспарантами для споров, масштабами для измерения человеческой ценности.

Когда в трех километрах от нас поселилась детская колония имени В. Г. Короленко, наши ребята недолго им завидовали. Задоров сказал:

– Маленьким этим как раз и хорошо называться Короленками. А мы – Горькие.

И Калина Иванович был того же мнения:

– Я Короленко этого видав и даже говорив с ним: вполне приличный человек. А вы, канешно, и теорехтически босяки и прахтически.

Мы стали называться колонией имени Горького без всякого официального постановления и утверждения. Постепенно в городе привыкли к тому, что мы так себя называем, и не стали протестовать против наших новых печатей и штемпелей с именем писателя. К сожалению, списаться с Алексеем Максимовичем мы не смогли так скоро, потому что никто в нашем городе не знал его адреса. Только в 1925 году в одном иллюстрированном еженедельнике мы прочитали статью о жизни Горького в Италии; в статье была приведена итальянская транскрипция его имени: Massimo Gorky. Тогда наудачу мы послали ему первое письмо с идеально лаконическим адресом: Italia. Massimo Gorky.

Горьковскими рассказами и горьковской биографией увлекались и старшие и малыши, несмотря на то, что малыши почти все были неграмотны.

Малышей, в возрасте от десяти лет, у нас было человек двенадцать. Все это был народ живой, пронырливый, вороватый на мелочи и вечно донельзя измазанный. Приходили в колонию они всегда в очень печальном состоянии: худосочные, золотушные, чесоточные. С ними без конца возилась Екатерина Григорьевна, добровольная наша фельдшерица и сестра милосердия. Они всегда липли к ней, несмотря на ее серьезность. Она умела их журить по-матерински, знала все их слабости, никому не верила на слово (я никогда не был свободен от этого недостатка), не пропускала ни одного преступления и открыто возмущалась всяким безобразием.

Но зато она замечательно умела самыми простыми словами, с самым человеческим чувством поговорить с пацаном о жизни, о его матери, о том, что из него выйдет – моряк, или красный командир, или инженер; умела понимать всю глубину той страшной обиды, какую проклятая, глупая жизнь нанесла пацанам. Кроме того, она умела их и подкармливать: втихомолку, разрушая все правила и законы продовольственной части, легко преодолевала одним ласковым словом свирепый педантизм Калины Ивановича.

Старшие колонисты видели эту связь между Екатериной Григорьевной и пацанами, не мешали ей и благодушно, покровительственно всегда соглашались исполнить небольшую просьбу Екатерины Григорьевны: посмотреть, чтобы пацан искупался как следует, чтобы намылился как нужно, чтобы не курил, не рвал одежды, не дрался с Петькой и так далее.

В значительной мере благодаря Екатерине Григорьевне в нашей колонии старшие ребята всегда любили пацанов, всегда относились к ним, как старшие братья: любовно, строго и заботливо.

[11] Сражение на ракитном озере

Через месяц после разрушения самоваров[90] *я послал колониста Гуда с чертежами в имение Трепке – у нас к этому времени вошло в обыкновение говорить: «во вторую колонию».*

Во второй колонии еще никто не жил, работали плотники да на ночь приходил наемный сторож. Иногда туда приезжал из города наш техник, нарочно приглашенный для руководства ремонтом. Вот к нему я и отправил Гуда с чертежами. Только что выйдя из колонии и обойдя озеро, Гуд встретил компанию: председателя сельсовета, Мусия Карповича и Андрия Карповича.

Компания по случаю праздника Преображения была в веселом настроении.

Председатель остановил Гуда:

– Ты что несешь?

– Чертеж.

– А ну, иди сюда! Обрез у тебя есть?

– Какой обрез?

– Молчи, бандит, давай обрез!

Дед Андрий схватил Гуда за руку, и это решило вопрос о дальнейшем направлении событий. Гуд вырвался из дедовых объятий и свистнул.

В таких случаях колонистами руководит какой-то непонятный для меня, страшно тонкий и точный инстинкт. Если бы Гуд просто совершал прогулку вокруг озера и ему вздумалось бы засвистеть вот этим самым разбойничьим свистом, просто засвистеть для развлечения, никто бы на этот свист не обратил внимания.

Но теперь на свист Гуда сбежались колонисты. Начался разговор в тонах настолько повышенных, насколько может быть возмутительным подозрение, что у колониста есть обрез.

Несмотря, однако, на высоту тона, собеседование окончилось бы благополучно, если бы не Приходько. Узнав, что у озера что-то произошло, что Гуда кто-то назвал бандитом, что конфликт сомнений не вызывает, Приходько выхватил из плетня кол и бросился защищать честь колонии. Решив, очевидно, что дипломатические переговоры кончены и наступил момент действовать, Приходько ураганом налетел на враждебную сторону и опустил кол на голову деда Андрия, а потом на голову председателя. «Преображенская компания» беглым шагом отступила и скрылась за неприступными воротами владений деда. Удар Приходько всем показался правильным делом. Двор Андрия Карповича окружили, началась правильная осада.

Я узнал о недоразумениях, происшедших на границе, только через полчаса. Придя к месту военных действий, я увидел интересную картину. Приходько, Митягин, Задоров и другие сидели на травке против ворот. Вторая группа во главе с Буруном наблюдала за тылом. Малыши дразнили собак, просовывая палки в подворотню, собаки честно исполняли свой долг: их лай, визг и рычанье сливались в сложнейшую какофонию. Враги притаились за заборами или в хате.

Я набросился на колонистов:

– Это что такое?

– Что, он будет нас называть бандитами и преступниками, а мы будем спускать?

Это говорил Задоров. Я его не узнал: красный, взлохмаченный, разъяренный, брызжет слюной, размахивает руками…

– Задоров, неужели и ты потерял голову?

---

[90] Имеется в виду уничтожение самогонных аппаратов у хуторян.

– Э, что с вами говорить!..

Он бросился к воротам:

– Эй вы! Вылезайте наружу, а то все равно подпалим…

Я увидел, что тут действительно пахнет порохом.

– Ребята! Я с вами согласен до конца. Этого дела спустить нельзя. Идемте в колонию, там поговорим. Так нельзя делать, как вы. Как это так – «подпалим»? Идем в колонию.

Задоров что-то хотел сказать, но я закричал на него:

– Дисциплина! Я тебе приказываю! Понимаешь?

– Извините, Антон Семенович.

Пацаны последний раз дернули палками в подворотне, и мы все двинулись к колонии.

Нас остановил голос сзади. Мы оглянулись. В воротах стоял председатель.

– Товарищ заведующий, идите сюда!

– Чего я к вам пойду?

– Идите сюда, нам нужно вам сказать о важном деле.

Я направился к воротам. Хлопцы тоже зашагали, но председатель закричал:

– Нехай они стоят на месте, нехай не идут…

– Подождите меня, ребята, здесь.

Карабанов предупредил:

– В случае чего мы наготове.

– Добре.

Председатель встретил меня чрезвычайно немилостиво:

– Значит, как я представитель власти, идем сейчас в колонию и будем делать обыск. Бить меня по голове, а также и больного старика, который совсем не может выдержать такого обращения! Вам, как заведующему, безусловно, надо на это обратить внимание, а что касается этих бандитов, так мы докажем и разберемся, кто им потворствует.

За моей спиной уже стояли чрезвычайно заинтересованные колонисты, и Задоров страстно предложил:

– В колонию? Идем в колонию!.. Идемте обыск производить!..

Я сказал председателю:

– Обыска я не позволю делать, искать нечего, а если хотите поговорить, то приходите, когда проспитесь. Сейчас вы пьяны. Если ребята виноваты, я их накажу.

Из толпы колонистов выступил Карабанов и мастерски имитировал русский язык с великолепным московским выговором:

– Не можете ли вы сказать, товарищ, кто именно из каланистов ударил па галаве вас и этава бальнова старика?

Приходько со своим дрючком выразительно расположился на авансцене и принял позу Геракла Праксителя[91]*. Он ничего не говорил, но на его щеке один мускул ритмически повторял одну и ту же фразу:*

– Интересно, что скажет председатель?

Председатель глянул на Карабанова и Приходько и малодушно сделал ложный шаг:

– Это мы потом разберем – мне так показалось.

– Вам паказалось, что вас ударили па галаве? – спросил Карабанов.

Председатель выразительно глянул в глаза Карабанова.

– До свидания, – сказал Карабанов.

Ребята галантно стащили с кудлатых голов некоторые подобия картузов, заложили руки в дырявые карманы брюк, и мы все двинулись домой, сопровождаемые прежним лаем собак и негодованием председателя.

---

[91] Имеется в виду скульптура *Праксителя* (ок. 390–330 гг. до н. э.) – мифического героя *Геракла*.

Дома мы немедленно начали совещание.

Задоров обрисовал расположение военных сил на Ракитном озере:

– Все было благополучно, знаете, но вот та дылда прибежала с палочкой.

– Ну, положим, не с палочкой, а дрючком.

– Извините, – сказал Задоров, – это не установлено. Да, прибежал с палочкой и тихонько постучал по котелкам. Только и всего.

– Слушайте ребята, – сказал я. – Это дело серьезное: ведь он председатель. Если вы били его палкой по голове, то нам влетит здорово.

Карабанов закричал:

– Да кто его бил? Выдумали с пьяных глаз. Кто его бил? Ты, Приходько?

Приходько замотал головой:

– На черта он мне сдался!

– Да нет, никто его не бил. Я потом с Приходько поговорю, да с ним и говорить не нужно.

В управлении делами губисполкома в один день получилось два донесения: одно – председателя сельсовета, другое – колонии имени Максима Горького. В последнем было написано, что пьяная компания с участием председателя оскорбила колониста, называла всех колонистов бандитами, что колония не может ручаться за дальнейшее и просит обратить внимание.

Разбирать это дело приехал сам заведующий отделом управления. В колонию пришел председатель и его свидетели.

Вопрос о том, был ли нанесен удар палкой, остался открытым. Приходько дико смотрел на председателя:

– Да я там и не был! Я пришел, когда все ушли к деду.

Зато был глубоко разработан вопрос о том, были пьяны или не были пьяны наши противники. Ребята с особенной экспрессией показывали:

– Да вы же на ногах не держались.

Задоров, показывая образец искреннего выражения лица, прибавил:

– Вы назвали меня бандитом и замахнулись, помните?

Председатель удивлялся:

– Замахнулся?

– Вспомнили? Замахнулись, не удержались и упали. Помните, еще из кармана у вас папиросы выпали, кто их поднял? – Задоров оглянулся.

– Да я ж их собрал на земле и вам отдал, – скромно сказал Карабанов. – Три папиросы. Вы их не могли поднять, все падали.

Селяне хлопали себя по штанам и поражались наглости колонистов:

– Брешут, все брешут! – кричал председатель.

Следователь улыбался, откинувшись на спинку стула, и трудно было разобрать, чему он улыбается: затруднительному положению председателя или нашей талантливости.

– Вот же свидетель, – показывал председатель на прибранного, расчесанного, как покойник, Мусия Карповича.

Мусий Карпович выступил вперед и откашлялся перед начальством, но колонисты единодушно расхохотались:

– Этот? – сказал со смехом Таранец. – Ну, этот совсем «папа-мама» не выговаривал. Больше сидел на земле и под нос себе все бурчал: «Нам не нужно бандитов».

Мусий Карпович укоризненно покачал головой и ничего не сказал.

Карта наших врагов была бита.

Через неделю мы узнали результат следствия: председатель Гончаровского сельсовета Сергей Петрович Гречаный был снят. Мусий Карпович, приехав в колонию ковать коней, был приветливо встречен колонистами:

– А-а, Мусий Карпович, ну как дела?

– Э, хлопцы, нехорошо так, недобре так, опаскудили человека: када ж я сидев и папа-мама не говорив?

– Ша, дядя, – сказал Задоров. – Лучше никогда не пей: от водки память портится.

[12] Триумфальная сеялка

Все больше и больше становилось ясным, что в первой колонии нам хозяйничать трудно. Все больше и больше наши взоры обращались ко второй колонии, туда, на берега Коломака, где так буйно весной расцветали сады и земля лоснилась матерым черноземом.

Но ремонт второй колонии подвигался необычайно медленно. Плотники, нанятые за гроши, способны были строить деревенские хаты, но становились в тупик перед каким-нибудь сложным перекрытием. Стекла мы не могли достать ни за какие деньги, да и денег у нас не было. Два-три крупных дома были все-таки приведены в приличный вид уже к концу лета, но в них нельзя было жить, потому что они стояли без стекол. Несколько маленьких флигелей мы отремонтировали до конца, но там поселились плотники, каменщики, печники, сторожа. Ребят переселять смысла не было, так как без мастерских и хозяйства им делать было нечего.

Колонисты бывали во второй колонии ежедневно, значительную часть работы исполняли они. Летом десяток ребят жили в шалашах, работая в саду. Они присылали в первую колонию целые возы яблок и груш. Благодаря им трепкинский сад принял если не вполне культурный, то во всяком случае приличный вид.

Жители села Гончаровки были очень расстроены появлением среди трепкинских руин новых хозяев, да еще столь мало почтенных, оборванных и ненадежных. Наш ордер на шестьдесят десятин неожиданно для меня оказался ордером почти дутым: вся земля Трепке, в том числе и наш участок, была уже с семнадцатого года распахана крестьянами. В городе на наше недоумение улыбнулись:

– Если ордер у вас, то и земля, значит, ваша: выезжайте и работайте.

Но Сергей Петрович Гречаный, председатель сельсовета, был другого мнения:

– Вы понимаете, что значит, когда трудящий крестьянин получил землю по всем правильностям закона. Так он, значит, и будет пахать. А если кто пишет ордера разные и бумажки, то, безусловно, он против трудящихся нож в спину. И вы лучше не лезьте с этим ордером.

Пешеходные дорожки во вторую колонию вели к реке Коломаку, которую нужно было переплывать. Мы устроили на Коломаке свой перевоз и держали всегда дежурного лодочника, колониста. С грузом же и вообще на лошадях во вторую колонию можно было проехать только кружным путем, через гончаровский мост. В Гончаровке нас встречали достаточно враждебно. Парубки при виде нашего небогатого выезда насмехались:

– Эй вы, ободранцы! Вы нам вшей на мосту не трусите! Даром сюда лазите; все одно выженэм[92] з Трепке.

Мы осели в Гончаровке не мирными соседями, а непрошеными завоевателями. И если бы в этой военной поэзии мы не выдержали тона, показали бы себя неспособными к борьбе, мы обязательно потеряли бы и землю и колонию. Крестьяне понимали, что спор будет решен не в канцеляриях, а здесь, на полях. Они уже три года пахали трепкинскую землю, у них уже была какая-то давность, на которую они и опирались в своих протестах. Им во что бы то ни стало нужно было продлить эту давность, в этой политике заключалась вся их надежда на успех.

Точно так же для нас единственным выходом было как можно скорее приступить к фактическому хозяйству на земле.

Летом приехали землемеры намечать наши межи, но выйти в поле с инструментами побоялись, а показали нам на карте, по каким канавам, ярам и зарослям мы должны отсчитать нашу землю. С землемерским актом поехал я в Гончаровку, взяв с собой старших хлопцев.

Председатель сельсовета был теперь наш старый знакомый, Лука Семенович Верхола. Он нас встретил очень любезно и предложил садиться, но на землемерский акт даже не посмотрел.

---

[92] *Выженэм* (*укр.*) – выгоним.

– Дорогие товарищи, ничего не могу сделать. Мужички давно пашут, не могу обидеть мужичков. Просите в другом поле.

Когда на наши поля крестьяне выехали пахать, я вывесил объявление, что за вспашку нашей земли колония платить не будет.

Я сам не верил в значение принимаемых мер, не верил потому, что меня замораживало сознание: землю нужно отнимать у крестьян, у трудящихся крестьян, которым эта земля нужна, как воздух.

Но в один из ближайших вечеров в спальне Задоров подвел ко мне постороннего селянского юношу. Задоров был чем-то сильно возбужден.

– Вот вы послушайте его, вы только послушайте!

Карабанов в тон ему выделывал какие-то гопаковские па и орал на всю спальню:

– О-о! Дайте мне сюда Верхолу!

Колонисты обступили нас.

Юноша оказался комсомольцем с Гончаровки.

– Много комсомольцев на Гончаровке?

– Нас только три человека.

– Только три?

– Вы знаете, нам очень трудно, – сказал он. – Село кулацкое, хутора, знаете, верх ведут. Ребята послали к вам – перебирайтесь скорийше, куда дело пойдет, ого! У вас же хлопци – боевые хлопци. Як бы нам таких!

– Да вот с землей беда.

– Ось же я про землю и пришел. Берите силою. Не смотрите на этого рыжего черта – Луку. Вы знаете, у кого та земля, что вам назначена?

– Ну?

– Кажи, кажи, Спиридон!

Спиридон начал загибать пальцы:

– Гречаный Андрий Карпович…

– Дед Андрий? Так он же здесь имеет поле.

– Як бачите… Гречаный Петро, Гречаный Оноприй, Стомуха, три, шо биля церквы… ага, Серега… Стомуха Явтух, та сам Лука Семенович. От и все. Шесть человек.

– Да что вы говорите! Как же это случилось? А комнезам ваш где?

– Комнезам у нас маленький, *комнезаму заткнуть роть самогонкою, тай годи*. А случилось так: земля ж та осталась при усадьбе, собирались же там что-то делать. А сельсовет свой, поразбирали. Тай годи!

– Ну, теперь дело пойдет веселей! – закричал Карабанов. – Держись, Лука!

В начале сентября я возвращался из города. Было часа два дня. Трехэтажный наш шарабан не спеша подвигался вперед, сонно журчал рассказ Антона о характере Рыжего. Я и слушал его, и думал о разных колонистских вопросах.

Вдруг Братченко замолчал, пристально глянул вдаль по дороге, приподнялся, хлестнул по лошади, и мы со страшным грохотом понеслись по мостовой. Антон колотил Рыжего, чего с ним никогда не бывало, и что-то кричал мне. Я наконец разобрал, в чем дело.

– Наши… с сеялкой!

У поворота в колонию мы чуть не столкнулись с летящей карьером, издающей странный жестяной звук сеялкой. Пара гнедых лошадок в беспамятстве перла вперед, напуганная треском непривычной для них колесницы. Сеялка с грохотом скатилась с каменной мостовой, зашуршала по песку и вновь загремела уже по нашей дороге в колонию. Антон нырнул с шарабана на землю и погнался за сеялкой, бросив вожжи мне на руки. На сеялке, на концах натянутых вожжей, каким-то чудом держались Карабанов и Приходько. Насилу Антон остановил

странный экипаж. Карабанов, захлебываясь от волнения и утомления, рассказал нам о совершившихся событиях:

– Мы кирпичи складывали на дворе. Смотрим, выехали, важно так, сеялка и человек пять народу. Мы до них: забирайтесь, говорим. А нас четверо: был еще Чобот и… кто ж?

– Сорока, – сказал Приходько.

– Ага, и Сорока. Забирайтесь, говорю, все равно сеять не будете. А там черный такой, мабудь цыган… та вы его знаете… бац кнутом Чобота! Ну, Чобот ему в зубы. Тут, смотрим, Бурун летит с палкой. Я хватил коня за уздечку, а председатель меня за грудки…

– Какой председатель?

– Да какой же! Наш – рыжий, Лука Семенович. Ну, Приходько его как брыкнет сзади, он и покатился прямо в рылю носом. Я кажу Приходьку: сидай сам на сеялку – и пайшли и пайшли! В Гончаровку вскочили, там парубки на дороге, так куды?.. Я по коням, так галопом и вынесли на мост, а тут уже на мостовую выехали… Там остались наших трое, мабудь их здорово дядьки помолотили.

Карабанов весь трепетал от победного восторга. Приходько невозмутимо скручивал цыгарку и улыбался. Я представил себе дальнейшие главы этой занимательной повести: комиссии, допросы, выезды…

– Черт бы вас побрал, опять наварили каши!

Карабанов был несказанно обескуражен моим недовольным видом:

– Так они ж первые…

– Ну, хорошо, поезжайте в колонию, там разберем.

В колонии нас встретил Бурун. На его лбу торчал огромный синяк, и ребята хохотали вокруг него. Возле бочки с водой умывались Чобот и Сорока.

Карабанов схватил Буруна за плечи:

– Що, втик? От молодец!

– Они за сеялкой бросились, а потом увидели, что ихнее не варит, так за нами. Ой, и бежали ж!

– А они где?

– Мы в лодке переплыли, так они на берегу ругались. Мы их там и бросили.

– Ребята остались в колонии? – спросил я.

– Там пацаны: Тоська и еще двое. Тех не тронут.

Через час в колонию пришли Лука Семенович и двое селян. Хлопцы встретили их приветливо:

– Что, за сеялкой?

В кабинете нельзя было повернуться от толпы заинтересованных граждан. Положение было затруднительным. Лука Семенович уселся за стол и начал:

– Позовите тех хлопцев, которые вот избили меня и еще двух человек.

– Вот что, Лука Семенович, – сказал я ему. – Если вас избили, жалуйтесь куда хотите. Сейчас я никого звать не буду. Скажите, что еще вам нужно и чего вы пришли в колонию?

– Вы, значит, отказываетесь позвать?

– Отказываюсь.

– Ага! Значит, отказываетесь? Значит, будем разговаривать в другом месте.

– Хорошо.

– Кто отдаст сеялку?

– Кому?

– А вот хозяину.

Он показал на человека с цыганским лицом, черного, кудлатого и сумрачного.

– Это ваша сеялка?

– Моя.

– Так вот что: сеялку я отправлю в район милиции, как захваченную во время самовольного выезда на чужое поле, а вас прошу назвать свою фамилию.

– Моя фамилия? Гречаный Оноприй. На какое чужое поле? Мое поле. И было мое…

– Ну, об этом не здесь разговор. Сейчас мы составим акт о самовольном выезде и об избиении воспитанников, работавших на поле.

Бурун выступил вперед:

– Это тот самый, что меня чуть не убил.

– Та кому ты нужен?.. Убивать тебя? Хай ты сказився!

Беседа в таком стиле затянулась надолго. Я уже успел забыть, что пора обедать и ужинать, уже в колонии прозвонили спать, а мы сидели с селянами и то мирно, то возбужденно-угрожающе, то хитроумно-иронически беседовали.

Я держался крепко, сеялки не отдавал и требовал составления акта. К счастью, у селян не было никаких следов драки, колонисты же козыряли синяками и царапинами. Решил дело Задоров. Он хлопнул ладонью по столу и произнес такую речь:

– Вы бросьте, дядьки! Земля наша, и с нами вы лучше не связывайтесь. На поле мы вас не пустим, *нужно будет – и за ножи возьмемся*. Нас пятьдесят человек, и хлопцы боевые.

Лука Семенович долго думал, наконец погладил свою бороду и крякнул:

– Да… Ну, черт с вами! Заплатите хоть за вспашку.

– Нет, – сказал я холодно. – Я предупреждал.

Еще молчание.

– Ну что ж, давайте сеялку.

– Подпишите акт землемеров.

– Та… давайте акт.

Осенью мы все-таки сеяли жито во второй колонии. Агрономами были все. Калина Иванович мало понимал в сельском хозяйстве, остальные понимали еще меньше, но работать за плугом и за сеялкой была у всех охота, кроме Братченко. Братченко страдал и ревновал, проклинал и землю, и жито, и наши увлечения:

– Мало им хлеба, жита захотели!

Восемь десятин в октябре зеленели яркими всходами. Калина Иванович с гордостью тыкал палкой с резиновым наперстком на конце куда-то в восточную часть неба и говорил:

– Надо, знаешь, там чачавыцю посеять. Хорошая вещь – чачавыця.

Рыжий с Бандиткой трудились над яровым клином, и Задоров по вечерам возвращался усталый и пыльный.

– Ну его к бесу, трудная эта граковская работа. Пойду опять в кузницу.

Снег захватил нас на половине работы. Для первого раза это было сносно.

[13] На педагогических ухабах

Добросовестная работа была одним из первых достижений колонии имени Горького, к которому мы пришли гораздо раньше, чем к чисто моральным достижениям.

Нужно признать, что труд сам по себе, не сопровождаемый напряжением, общественной и коллективной заботой, оказался мало влиятельным фактором в деле воспитания новых мотиваций поведения. Небольшой выигрыш получался только в той мере, в какой работа отнимала время и вызывала некоторую полезную усталость. Как постоянное правило, при этом наблюдалось, что воспитанники наиболее работоспособные в то же время с большим трудом поддавались моральному влиянию. Хорошая работа сплошь и рядом соединялась с грубостью, с полным неуважением к чужой вещи и к другому человеку, сопровождалась глубоким убеждением, что исполненная работа освобождает от каких бы то ни было нравственных обязательств. Обычно такая трудолюбивость завершалась малым развитием, презрением к учебе и полным отсутствием планов и видов на будущее.

Я обратил внимание на обстоятельство, что, вопреки первым моим впечатлениям, колонисты вовсе не ленивы. Большинство из них не имели никакого отвращения к мускульному усилию, очень часто ребята показывали себя как очень ловкие работники, в труде были веселы и заразительно оживлены. Городские воришки в особенности были удачливы во всех трудовых процессах, которые нам приходилось применять. Самые заядлые лентяи, действительные лежебоки и обжоры, в то же время совершенно были не способны ни к какому преступлению, были страшно неповоротливы и неинициативны. Один такой, Галатенко, прошел со мной всю историю колонии, никогда не крал и никого ничем не обидел, но пользы от него всегда мало. Он был ленив классическим образом, мог заснуть с лопатой в руке, отличался поразительной изобретательностью в придумывании поводов и причин к отказу от работы, и даже в моменты больших коллективных подъемов, в часы напряженной авральной работы всегда ухитрялся отойти в сторону и незаметно удрать.

Нейтральность трудового процесса очень удивила наш педагогический коллектив. Мы слишком привыкли поклоняться трудовому принципу, становилась необходимой заботой более тщательная проверка нашего старого убеждения.

Мы заметили, что рассматриваемый уединенно трудовой процесс быстро и легко делается автономным механическим действием, не включенным в общий поток психологической жизни, чем-то подобным ходьбе или дыханию. Он отражается на психике только травматически, но не конструктивно, и поэтому его участие в образовании новых общественных мотиваций совершенно ничтожно.

Такой закон представился нам несомненным, во всяком случае по отношению к неквалифицированному труду, какого тогда очень много было в колонии. В то время самообслуживание было очередной педагогической панацеей.

Ничтожное мотивационное значение работ по самообслуживанию, значительная утомляемость, слабое интеллектуальное содержание работы уже в самые первые месяцы разрушили нашу веру в самообслуживание. По своей бедности, правда, наша колония еще долго его практиковала, но наши педагогические взоры уже не обращались на него с надеждой. Мы тогда решили, что очень бедный комплекс побуждений к простому труду прежде всего определяет его моральную нейтральность.

В поисках более сложных побуждений мы обратились к мастерским. К концу первого года в колонии были кузнечная, столярная, сапожная, колесная и корзиночная мастерские. Все они были плохо оборудованы и представляли собою первоначальные кустарные примитивы. Работа в мастерских оказалась более деятельным фактором в деле образования новых мотиваций поведения. Самый процесс труда в мастерских более ограничен: он составляется

из последовательных моментов развития и, стало быть, имеет свою внутреннюю логику. Ремесленный труд, связанный с более заметной ответственностью, в то же время приводит к более очевидным явлениям ценности. В то же время ремесленный труд дает основания для возникновения группы мотиваций, связанных с будущим колонистов.

Однако средний тип мотивационного эффекта в результате ремесленного обучения оказался очень невзрачным. Мы увидели, что узкая область ремесла дает, правда, нечто, заменяющее антисоциальные привычки наших воспитанников, но дает совершенно не то, что нам нужно. Движение воспитанника направлялось к пункту, всем хорошо известному: довольно несимпатичному типу нашего ремесленника. Его атрибуты: большая самоуверенность в суждениях, соединенная с полным невежеством, очень дурной, бедный язык и короткая мысль, мелкобуржуазные идеальчики кустарной мастерской, мелкая зависть и неприязнь к коллеге, привычка потрафлять заказчику, очень слабое ощущение социальных связей, грубое и глупое отношение к детям и к женщине и, наконец, как завершение, чисто религиозное отношение к ритуалу выпивки и к застольному пустословию.

Зачатки всех этих качеств мы очень рано стали наблюдать у наших сапожников, столяров, кузнецов.

Как только мальчик начинал квалифицироваться, как только он основательно прикреплялся к своему верстаку, он уже делался и в меньшей мере коммунаром.

Интересно, что в очень многих колониях, строивших свой мотивационный баланс на ремесле, я всегда наблюдал один и тот же результат. Именно такие ребята, сапожники в душе, винопийцы, украшенные чубами и цигарками, выходят их этих колоний и вносят мелкобуржуазные, вздорные и невежественные начала в жизнь нашей рабочей молодежи.

Бедный по своему социальному содержанию, ремесленный труд становился в наших глазах плохой дорогой коммунистического воспитания. В начале второго года выяснилось, что воспитанники, не работавшие в мастерских или работавшие в них временами, а исполняющие общие и сельскохозяйственные работы, в социально-моральном отношении стоят впереди «мастеровых». Нужно небольшое усилие с нашей стороны, чтобы увидеть: улучшение морального состояния отдельных групп воспитанников происходит параллельно развитию хозяйства и внедрению коллектива в управление этим хозяйством.

Однако вот это самое небольшое усилие было сделать не так легко. Слишком широкая многообразная стихия хозяйства чрезвычайно трудно поддается анализу со стороны своего педагогического значения. Сначала в хозяйстве мы склонны были видеть сельское хозяйство и слепо подчинились тому старому положению, которое утверждает, что природа облагораживает.

Это положение было выработано в дворянских гнездах, где природа понималась прежде всего как очень красивое и вылощенное место для прогулок и тургеневских переживаний [93]*, писания стихов и размышлений о божьем величии.*

Природа, которая должна была облагораживать колониста-горьковца, смотрела на него глазами невспаханной земли, зарослей, которые нужно было выполоть, навоза, который нужно было убрать, потом вывезти в поле, потом разобрать, поломанного воза, лошадиной ноги, которую нужно было вылечить. Какое уж тут облагораживание.

Невольно мы обратили внимание на действительно здоровый хозяйственно-рабочий тон во время таких событий.

Вечером в спальне, после всяких культурных и не очень культурных разговоров, нечаянно вспоминаешь:

– Сегодня в городе с колеса скатилась шина. Что это за история?

---

[93] Имеется в виду роман *Ивана Сергеевича Тургенева* (1818–1883) «Дворянское гнездо» (1859 г.).

Разнообразные силы колонии немедленно начинают чувствовать обязанность отчитываться.

– Я воз осматривал в понедельник и говорив конюхам, чтоб подкатили воз к кузнице, – говорит Калина Иванович, и его трубка корчится в агонии в отставленной возмущенной руке.

Гуд поднимается на цыпочки и через головы других горячится:

– Мы кузнецам сказали еще раньше, – в субботу сказали.

Где-то на горизонте виднеется весьма заинтересованная положением вытянутая физиономия Антона Братченко. Задоров старается предотвратить конфликт и весело бросает:

– Да сделаем…

Но его перебивает ищущий правды баритон Буруна:

– Ну, так что же, что сказали, а шинное железо где?

Братченко экстренно мобилизуется и задирает голову – Бурун гораздо выше его:

– А вы кому говорили, что у вас шинное железо вышло?

– Как кому говорили? Что ж, на всю колонию кричать?

Вот именно в этот момент вопрос можно снять с обсуждения, даже обязательно нужно снять. Я говорю Братченко:

– Антон, отчего это сегодня у тебя прическа такая сердитая?

Но Братченко грозит сложенным вдвое кнутом кому-то в пространство и демонстрирует прекрасного наполнения бас:

– Тут не в прическе дело.

Без всякого моего участия завтра и послезавтра в хозяйстве, в кузнице, в подкатном сарае произойдет целая куча разговоров, споров, вытаскивания возов, тыканья в нос старым шинным железом, шутливых укоров и серьезных шуток. Колесо, с шиной или без шины, в своем движении захватит множество вопросов, вплоть до самых общих:

– Вы тут сидите возле горна, как господа какие. Вам принеси, да у вас спроси.

– А что? К вам ходить спрашивать: не нужно ли вам починить чего-нибудь. Мы не цыгане…

– Не цыгане. А кто?

– Кто? Колонисты…

– Колонисты. Вы не знаете, что у вас железа нет. Вам нужно няньку…

– Им не няньку, а барина. Барина с палкой…

– Кузнецам барина не нужно, это у конюхов барин бывает, у кузнецов не бывает барина…

– У таких, как вы, бывает.

– У таких, как мы?

– А вот не знают, есть ли у них железо. А может, у вас и молота нет, барин не купил.

Все рычаги, колесики, гайки и винты хозяйственной машины, каждый в меру своего значения, требуют точного и ясного поведения, точно определяемого интересами коллектива, его честью и красотой. Кузнецы, конечно, обиделись за «барина», но и конюхам в городе было стыдно за свою колонию, ибо по словам тех же кузнецов:

– Хозяева, тоже. Они себе катят, а шина сзади отдельно катится. А они, хозяева, на ободе фасон держат.

Смотришь на этих милых оборванных колонистов, настолько мало «облагороженных», что так и ждешь от них матерного слова, смотришь и думаешь:

«Нет, вы действительно хозяева: слабые, оборванные, бедные, нищие, но вы настоящие, без барина, хозяева. Ничего, поживем, будет у нас шинное железо, и говорить научимся без матерного слова, будет у нас кое-что и большее».

Но как мучительно трудно было ухватить вот этот неуловимый завиток новой человеческой ценности. В особенности нам, педагогам, под бдительным оком педагогических ученых.

В то время нужно было иметь много педагогического мужества, нужно было идти на «кощунство», чтобы решиться на исповедования такого догмата:

– Общее движение хозяйственной массы, снабженное постоянным зарядом напряжения и работы, если это движение вызывается к жизни сознательным стремлением и пафосом коллектива, обязательно определит самое главное, что нужно колонии: нравственно здоровый фон, на котором более определенный нравственный рисунок выполнить будет уже не трудно.

Оказалось, впрочем, что и это не легко: аппетит приходит с едой, и настоящие затруднения начались у нас тогда, когда схема была найдена, а остались детали.

В то самое время, когда мы мучительно искали истину и когда мы уже видели первые взмахи нового здорового хозяина-колониста, худосочный инспектор из наробраза ослепшими от чтения глазами водил по блокноту и, заикаясь, спрашивал колонистов:

– А вам объясняли, как нужно поступать?

И в ответ на молчание смущенных колонистов что-то радостно черкнул в блокноте. И через неделю прислал нам свое беспристрастное заключение: «Воспитанники работают хорошо и интересуются колонией. К сожалению, администрация колонии, уделяя много внимания хозяйству, педагогической работой мало занимается. Воспитательная работа среди воспитанников не ведется».

Ведь это теперь я могу так спокойно вспомнить худосочного инспектора. А тогда приведенное заключение меня очень смутило. А в самом деле, а вдруг я ударился в ложную сторону? Может быть, действительно нужно заняться «воспитательной» работой, то есть без конца и устали толковать каждому воспитаннику, «как нужно поступать». Ведь если это делать настойчиво и регулярно, то, может быть, до чего-нибудь и дотолкуешься.

Мое смущение поддерживалось еще и постоянными неудачами и срывами в нашем коллективе.

Я снова приступил к раздумью, к пристальным тончайшим наблюдениям, к анализу.

Жизнь нашей колонии представляла очень сложное переплетение двух стихий: с одной стороны, по мере того как развивалась колония и вырастал коллектив колонистов, родились и росли новые общественно-производственные мотивации, постепенно сквозь старую и привычную для нас физиономию урки и анархиста-беспризорного начинало проглядывать новое лицо будущего хозяина жизни; с другой стороны, мы всегда принимали новых людей, иногда чрезвычайно гнилых, иногда даже безнадежно гнилых. Они важны были для нас не только как новый материал, но и как представители новых влияний, иногда мимолетных, слабых, иногда, напротив, очень мощных и заразительных. Благодаря этому нам часто приходилось переживать явления регресса и рецидива среди «обработанных», казалось, колонистов.

Очень нередко эти пагубные влияния захватывали целую группу колонистов, чаще же бывало, что в линию развития того или другого мальчика – линию правильную и желательную – со стороны новых влияний вносились некоторые поправки. Основная линия продолжала свое развитие в прежнем направлении, но она уже не шла четко и спокойно, а все время колебалась и обращалась в сложную ломаную.

Нужно было иметь много терпения и оптимистической перспективы, чтобы продолжать верить в успех найденной схемы, и не падать духом, и не сворачивать в сторону.

Дело еще и в том, что в новой революционной обстановке мы тем не менее находились под постоянным давлением старых привычных выражений так называемого общественного мнения.

И в наробразе, и в городе, и в самой колонии общие разговоры о коллективе и о коллективном воспитании позволяли в частном случае забывать именно о коллективе. На просту-

пок отдельной личности набрасывались, как на совершенно уединенное и прежде всего индивидуальное явление, встречали этот проступок либо в колорите полной истерики, либо в стиле рождественского мальчика.[94]

Найти деловую, настоящую советскую линию, реальную линию было очень трудно. Новая мотивационная природа нашего коллектива создавалась очень медленно, почти незаметно для глаза, а в это время нас разрывали на две стороны цепкие руки старых и новых предрассудков. С одной стороны, нас порабощал старый педагогический ужас перед детским правонарушением, старая привычка приставать к человеку по каждому пустяковому поводу, привычка индивидуального воспитания. С другой стороны, нас поедом ели проповеди свободного воспитания[95]*, полного непротивления*[96] *и какой-то мистической самодисциплины, в последнем счете представлявшие припадки крайнего индивидуализма, который мы так доверчиво пустили в советский педагогический огород.*

Нет, я не мог уступить. Я еще не знал, я только отдаленно предчувствовал, что и дисциплинирование отдельной личности, и полная свобода отдельной личности – не наша музыка. Советская педагогика должна иметь совершенно новую логику: от коллектива – к личности. Объектом советского воспитания может быть только целый коллектив. Только воспитывая коллектив, мы можем рассчитывать, что найдем такую форму его организации, при которой отдельная личность будет и наиболее дисциплинирована, и наиболее свободна.

Я верил, что ни биология, ни логика, ни этика не могут определить нормы поведения. Нормы определяются в каждый данный момент нашей классовой нуждой и нашей борьбой. Нет более диалектической науки, чем педагогика. И создание нужного типа поведения – это прежде всего вопрос опыта, привычки, длительных упражнений в том, что нам нужно. И гимнастическим залом для таких упражнений должен быть наш советский коллектив, наполненный такими трапециями и параллельными брусьями, которые нам сейчас нужны.

И только. Никакой мистики нет. И нет никакой хитрости. Все ясно, все доступно моему здравому смыслу.

Я начал ловить себя на желании, чтобы все проступки колонистов оставались для меня тайной. В проступке для меня становилось важным не столько его содержание, сколько игнорирование требования коллектива. Проступок, самый плохой, если он никому не известен, в своем дальнейшем влиянии все равно умрет, задавленный новыми, общественными привычками и навыками. Но проступок обнаруженный должен был вызвать мое сопротивление, должен был приучить коллектив к сопротивлению, это тоже был мой педагогический хлеб.

Только в последнее время, около 1930 года, я узнал о многих преступлениях горьковцев, которые тогда оставались в глубокой тайне. Я теперь испытываю настоящую благодарность к этим замечательным первым горьковцам за то, что они умели так хорошо заметать следы и сохранить мою веру в человеческую ценность нашего коллектива.

Нет, товарищ инспектор, история наша будет продолжаться в прежнем направлении. Будет продолжаться, может быть, мучительно и коряво, но это только оттого, что у нас нет еще педагогической техники. Остановка только за техникой.

---

[94] Имеется в виду рассказ *Федора Михайловича Достоевского* (1821–1881) «Мальчик у Христа на елке» (1876 г.).

[95] *Свободное воспитание* – направление в педагогике второй половины XIX – начала XX в., отвергавшее право взрослых на систематическое и планомерно организованное воспитание, образование и обучение ребенка в рамках обязательного учебного процесса.

[96] Имеется в виду мысль *Льва Николаевича Толстого* (1829–1910) о «непротивлении злу насилием».

[14] Братченко и райпродкомиссар

Развитие нашего хозяйства шло путем чудес и страданий. Чудом удалось Калине Ивановичу выпросить при каком-то расформировании старую корову, которая, по словам Калины Ивановича, была «яловая от природы»; чудом достали в далеком от нас ультрахозяйственном учреждении не менее старую вороную кобылу, брюхатую, припадочную и ленивую; чудом появились в наших сараях возы, арбы и даже фаэтон. Фаэтон был для парной запряжки, очень красивый по тогдашним нашим вкусам и удобный, но никакое чудо не могло помочь нам организовать для этого фаэтона соответствующую пару лошадей.

Нашему старшему конюху, Антону Братченко, занявшему этот пост после ухода Гуда в сапожную мастерскую, человеку очень энергичному и самолюбивому, много пришлось пережить неприятных минут, восседая на козлах замечательного экипажа, но в запряжке имея высокого худощавого Рыжего и приземистую кривоногую Бандитку, как совершенно незаслуженно окрестил Антон вороную кобылу. Бандитка на каждом шагу спотыкалась, иногда падала на землю, и в таких случаях нашему богатому выезду приходилось заниматься восстановлением нарушенного благополучия посреди города, под насмешливые реплики извозчиков и беспризорных. Антон часто не выдерживал насмешек и вступал в жестокую битву с непрошеными зрителями, чем еще более дискредитировал конюшенную часть колонии имени Горького.

Антон Братченко ко всякой борьбе был страшно охоч, умел переругиваться с любым противником, и для этого дела у него был изрядный запас словечек, оскорбительных полутонов и талантов физиономических.

Антон не был беспризорным. Отец его служил в городе пекарем, была у него и мать, и он был единственным сыном у этих почтенных родителей. Но с малых лет Антон возымел отвращение к пенатам, дома бывал только ночью и свел крупное знакомство с беспризорными и ворами в городе. Он отличился в нескольких смелых и занятных приключениях, несколько раз попадал в допр и наконец очутился в колонии. Ему было всего пятнадцать лет, был он хорош собой, кучеряв, голубоглаз, строен. Антон был невероятно общителен и ни одной минуты не мог пробыть в одиночестве. Где-то он выучился грамоте и знал напролет всю приключенческую литературу, но учиться ни за что не хотел, и я принужден был силой усадить его за учебный стол. На первых порах он часто уходил из колонии, но через два-три дня возвращался и при этом не чувствовал за собой никакой вины. Стремление к бродяжничеству он и сам старался побороть и меня просил:

– Вы со мною построже, пожалуйста, Антон Семенович, а то я обязательно босяком буду.

В колонии он никогда ничего не крал, любил отстаивать правду, но совершенно не способен был понять логику дисциплины, которую он принимал лишь постольку, поскольку был согласен с тем или иным положением в каждом отдельном случае. Никакой обязанности *для себя* в порядках колонии он не признавал и не скрывал этого. Меня он немного боялся, но и мои выговоры никогда не выслушивал до конца, прерывал меня страстной речью, непременно обвиняя своих многочисленных противников в различных неправильных действиях, в подлизывании ко мне, в наговорах, в бесхозяйственности, грозил кнутом отсутствующим врагам, хлопал дверью и, негодующий, уходил из моего кабинета. С воспитателями он был невыносимо груб, но в его грубости всегда было что-то симпатичное, так что наши воспитатели и не оскорблялись. В его тоне не было ничего хулиганского, даже просто неприязненного, настолько в нем всегда преобладала человечески страстная нотка, – он никогда не ссорился из-за эгоистических побуждений.

Поведение Антона в колонии скоро стало определяться его влюбленностью в лошадей и в дело конюха. Трудно было понять происхождение этой страсти. По своему развитию Антон стоял гораздо выше многих колонистов, говорил правильным городским языком, только для

фасона вставлял украинизмы. Он старался быть подтянутым в одежде, много читал и любил поговорить о книжке. И все это не мешало ему день и ночь толочься в конюшне, вычищать навоз, вечно запрягать и распрягать, чистить шлею или уздечку, плести кнут, ездить в любую погоду в город или во вторую колонию – и всегда жить впроголодь, потому что он никогда не поспевал ни на обед, ни на ужин, и если ему забывали оставить его порцию, он даже и не вспоминал о ней.

Свою деятельность конюха он всегда перемежал с непрекращающимися ссорами с Калиной Ивановичем, кузнецами, кладовщиками и обязательно с каждым претендентом на поездку. Приказ запрягать и куда-нибудь ехать он исполнял только после длинной перебранки, наполненной обвинениями в безжалостном отношении к лошадям, воспоминаниями о том, когда Рыжему или Малышу натерли шею, требованиями фуража и подковного железа. Иногда из колонии нельзя было выехать просто потому, что не находилось ни Антона, ни лошадей и никаких следов их пребывания. После долгих поисков, в которых участвовало полколонии, они оказывались или в Трепке, или на соседском лугу.

Антона всегда окружал штаб из двух-трех хлопцев, которые были влюблены в Антона в такой же мере, в какой он был влюблен в лошадей. Братченко содержал их в очень строгой дисциплине, и поэтому в конюшне всегда царил образцовый порядок: всегда было убрано, упряжь развешана в порядке, возы стояли правильными шеренгами, над головами лошадей висели дохлые сороки, лошади вычищены, гривы заплетены и хвосты подвязаны.

В июне, поздно вечером, прибежали ко мне из спальни:

– Козырь заболел, совсем умирает…

– Как это – «умирает»?

– Умирает: горячий и не дышит.

Екатерина Григорьевна подтвердила, что у Козыря сердечный припадок, необходимо сейчас же найти врача. Я послал за Антоном. Он пришел, заранее настроенный против любого моего распоряжения.

– Антон, немедленно запрягай, нужно скорее в город…

Антон не дал мне кончить.

– И никуда я не поеду, и лошадей никуда не дам!.. Целый день гоняли лошадей – посмотрите, еще и доси не остыли… Не поеду!

– За доктором, ты понимаешь?

– Наплевать мне на ваших больных! Рыжий тоже болен, так к нему докторов не возят.

Я взбеленился:

– Немедленно сдай конюшню Опришко! С тобой невозможно работать!..

– Ну и сдам, что ж такого! Посмотрим, как вы с Опришко наездите. Вам кто ни наговорит, так вы верите: болен, умирает. А на лошадей никакого внимания, – пусть, значит, дохнут… Ну и пускай дохнут, а я лошадей все равно не дам.

– Ты слышал? Ты уже не старший конюх, сдай конюшню Опришко. Немедленно!

– Ну и сдам… Пусть кто хочет сдает, а я в колонии жить не хочу.

– Не хочешь – и не надо, никто не держит!

Антон со слезами в глазах полез в глубокий карман, вытащил связку ключей, положил на стол. В комнату вошел Опришко, правая рука Антона, и с удивлением уставился на плачущего начальника. Братченко с презрением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но молча вытер рукавом нос и вышел.

Из колонии он ушел в тот же вечер, не зайдя даже в спальню. Когда ехали в город за доктором, видели его шагающим по шоссе; он даже не попросился, чтобы его подвезли, а на приглашение отмахнулся рукой.

Через два дня вечером ко мне в комнату ввалился плачущий, с окровавленным лицом Опришко. Не успел я расспросить, в чем дело, прибежала вконец расстроенная Лидия Петровна, дежурная по колонии.

– Антон Семенович, идите в конюшню: там Братченко, просто не понимаю, такое выделывает…

По дороге в конюшню мы встретили второго конюха, огромного Федоренко, ревущего на весь лес.

– Чего ты?

– Да як же… хиба ж можна так? Взяв нарытники и як размахнеться прямо по морди…

– Кто? Братченко?

– Та Братченко ж…

В конюшне я застал Антона и еще одного из конюхов за горячей работой. Он неприветливо со мной поздоровался, но, увидев за моей спиной Опришко, забыл обо мне и накинулся на него:

– Ты лучше сюда и не заходи, все равно буду бить чересседельником! Ишь, охотник нашелся кататься! Посмотрите, что он с Рыжим наделал!

Антон схватил одной рукой фонарь, а другой потащил меня к Рыжему. У коня действительно была отчаянно стерта холка, но на ране уже лежала белая тряпочка, и Антон любовно ее поднял и снова положил на место.

– Ксероформом присыпал, – сказал он серьезно.

– Все-таки какое же ты имел право самовольно прийти в конюшню, устраивать здесь расправы, драться?..

– Вы думаете, это ему все? Пусть лучше не попадается мне на глаза: все равно бить буду!

В воротах конюшни стояла толпа колонистов и хохотала. Сердиться на Антона у меня не нашлось силы: уж слишком он сам был уверен в своей и лошадиной правоте.

– Слушай, Антон, за то, что ты побил хлопцев, отсидишь сегодня вечер под арестом в моей комнате.

– Да когда же мне?

– Довольно болтать! – закричал я на него.

– Ну, ладно, еще и сидеть там где-то…

Вечером он, сердитый, сидел у меня и читал книжку.

Зимой 1922 года для меня и Антона настали тяжелые дни. Овсяное поле, засеянное Калиной Ивановичем на сыпучем песке без удобрения, почти не дало ни зерна, ни соломы. Луга у нас еще не было. К январю мы оказались без фуража. Кое-как перебивались, выпрашивали то в городе, то у соседей, но и давать нам скоро перестали. Сколько мы с Калиной Ивановичем ни обивали порогов в продовольственных канцеляриях, все было напрасно.

Наконец наступила и катастрофа. Братченко со слезами повествовал мне, что лошади второй день без корма. Я молчал. Антон с плачем и ругательствами чистил конюшню, но другой работы у него уже и не было. Лошади лежали на полу, и на это обстоятельство Антон особенно напирал.

На другой день Калина Иванович возвратился из города злой и растерянный.

– Что ты будешь делать? Не дают… Что делать?

Антон стоял у дверей и молчал.

Калина Иванович развел руками и глянул на Братченко:

– Чи грабить идти, чи што? Что ты будешь делать?.. Ведь животная бессловесная.

Антон круто нажал на двери и выскочил из комнаты. Через час мне сказали, что он из колонии ушел.

– Куда?

– А кто ж его знает!.. Никому ничего не сказал.

На другой день он явился в колонию в сопровождении селянина с возом соломы. Селянин был в новом серяке и в хорошей шапке. Воз ладно постукивал хорошо пригнанными втулками, кони лоснились *жиром и прекрасным настроением*. Селянин признал в Калине Ивановиче хозяина.

– Тут хлопец на дороге сказал, что продналог принимается…

– Какой хлопец?

– Да тут же був… Разом прийшов…

Антон выглядывал из конюшни и делал мне какие-то непонятные знаки. Калина Иванович смущенно ухмыльнулся в трубку и отвел меня в сторону:

– Что ж ты будешь делать? Давай примем у него этот возик, а там видно будет.

Я уже понял, в чем дело.

– Сколько здесь?

– Да пудов двадцать будет. Я не важил.[97]

Антон появился на месте действия и возразил:

– Сам говорил дорогою – семнадцать, а теперь двадцать? Семнадцать пудов.

– Сваливайте. Зайдете в канцелярию за распиской.

В канцелярии, то есть в небольшом кабинетике, который я для себя к этому времени выкроил среди колонистских помещений, я преступной рукой написал на нашем бланке, что у гражданина Ваця Онуфрия принято в счет причитающегося с него продналога объемного фуража – овсяной соломы – семнадцать пудов. Подпись. Печать.

Ваць Онуфрий низко кланялся и за что-то благодарил.

Уехал. Братченко весело действовал со всей своей компанией в конюшне и даже пел. Калина Иванович потирал руки и виновато посмеивался:

– Вот, черт, попадет тебе за эту штуку, но что ж ты будешь делать? Не пропадать же животному. Она же государственная, все едино…

– А чего это дядько такой веселый уехал? – спросил я у Калины Ивановича.

– Да, а как же ты думаешь? То ему в город, на гору ехать, да там еще в очереди стоять, а тут он, паразит, сказал – семнадцать пудов, никто и не проверил, а может, там пятнадцать.

Через день к нам во двор въехал воз с сеном.

– Ось продналог. Тут Ваць у вас здавав…

– А ваша как фамилия?

– Та и я ж з Вацив, тоже Ваць, Стэпан Ваць.

– Сейчас.

Пошел я искать Калину Ивановича посоветоваться. На крыльце встретил Антона.

– Вот показал дорогу с продналогом, а теперь…

– Принимайте, Антон Семенович, оправдаемся.

Принимать было нельзя, не принимать тоже нельзя. Почему, спрашивается, у одного Ваця приняли, а другому отказали?

– Иди, принимай сено, я пока расписку напишу.

И еще приняли мы воза два объемного фуража и пудов сорок овса.

Ни жив ни мертв ожидал я расправы. Антон внимательно на меня поглядывал и еле-еле улыбался одним углом рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями транспортной энергии, охотно выполнял все наряды на перевозки и в конюшне работал, как богатырь.

Наконец я получил краткий, но выразительный запрос:

---

[97] *Не важил* (*укр.*) – не взвешивал.

«Предлагаю немедленно сообщить, на каком основании колония принимает продналог.
Райпродкомиссар Агеев».

Я даже Калине Ивановичу не сказал о полученной бумажке. И отвечать не стал. Что я мог ответить?

В апреле в колонию влетела на паре вороных тачанка, а в мой кабинет – перепуганный Братченко.

– Сюда идет, – сказал он, задыхаясь.

– Кто это?

– Мабудь, насчет соломы… Сердитый.

Он присел за печкой и притих.

Райпродкомиссар был обыкновенный: в кожаной куртке, с револьвером, молодой и подтянутый.

– Вы заведующий?

– Я.

– Вы получили мой запрос?

– Получил.

– Почему вы не отвечаете? Что это такое, я сам должен ехать! Кто вам разрешил принимать продналог?

– Мы принимали продналог без разрешения.

Райпродкомиссар соскочил со стула и заорал:

– Как это так – «без разрешения»? Вы знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете арестованы, знаете вы это?

Я это знал.

– Кончайте как-нибудь, – сказал я райпродкомиссару глухо, – ведь я не оправдываюсь и не выкручиваюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите нужным.

Он забегал по диагонали моего бедного кабинета.

– Черт знает что такое! – бурчал он как будто про себя и фыркал, как конь.

Антон вылез из-за печки и следил за сердитым, как горчица, райпродкомиссаром. Неожиданно он низким альтом, как жук, загудел:

– Всякий бы не посмотрел, чи продналог, чи что, если четыре дня кони не кормлены. Если бы вашим вороным четыре дня газеты читать, так бы вы влетели в колонию?

Агеев остановился удивленный:

– А ты кто такой? Тебе здесь что надо?

– Это наш старший конюх, он лицо более или менее заинтересованное, – сказал я.

Райпродкомиссар снова забегал по комнате и вдруг остановился против Антона:

– У вас хоть заприходовано? Черт знает что!..

Антон прыгнул к моему столу и тревожно прошептал:

– Заприходовано ж, Антон Семенович?

Засмеялись и я и Агеев.

– Заприходовано.

– Где вы такого хорошего парня достали?

– Сами делаем, – улыбнулся я.

Братченко поднял глаза на райпродкомиссара и спросил серьезно, приветливо:

– Ваших вороных покормить?

– Что ж, покорми.

[15] Осадчий

Зима и весна 1922 года были наполнены страшными взрывами в колонии имени Горького. Они следовали один за другим и почти без передышки, и в моей памяти сейчас сливаются в какой-то общий клубок несчастья.

Однако несмотря на всю трагичность этих дней, они были днями роста и нашего хозяйства, и нашего здоровья. Как логически совмещались эти явления, я сейчас не могу объяснить, но совмещались. Обычный день в колонии был и тогда прекрасным днем, полным труда, доверия, человеческого, товарищеского чувства и всегда – смеха, шутки, подъема и очень хорошего, бодрого тона. И почти не проходило недели, чтобы какая-нибудь совершенно ни на что не похожая история не бросала нас в глубочайшую яму, в такую тяжелую цепь событий, что мы почти теряли нормальное представление о мире и делались больными людьми, воспринимающими мир воспаленными нервами.

Неожиданно у нас открылся антисемитизм. До сих пор в колонии евреев не было. Осенью в колонию был прислан первый еврей, потом один за другим еще несколько. *Эти первые евреи были очень неудачны. В большинстве это были парни глупые, нечистоплотные и неактивные.* Один из них почему-то раньше работал в губрозыске, и на него первого обрушился дикий гнев наших старожилов.

В проявлении антисемитизма я сначала не мог даже различить, кто больше, кто меньше виноват. Вновь прибывшие колонисты были антисемитами просто потому, что нашли безобидные объекты для своих хулиганских инстинктов, старшие же имели больше возможности издеваться и куражиться над евреями.

Фамилия первого была Остромухов.

Привел его милиционер как раз во время обеденного перерыва в холодный и вьюжный, неприветливый день. Остромухову не повезло с самого начала. Только что он со своим конвоиром вышел из лесу на нашу поляну, их заметил Карабанов. Присмотрелся внимательно и узнал: тот самый Остромухов, который когда-то из губрозыска водил его к следователю. Этого оскорбления не могло забыть его бандитское сердце: вот такой маленький, незаметный, чахоточный Остромухов осмелился конвоировать его, Карабанова, «з дида, з прадида» казака.

Увидев Остромухова, Карабанов взвел курок и закричал:

– О, держите меня, я его убью!

Услышав боевой возглас Карабанова, Остромухов, забыв о милиционере, моментально повернулся и побежал в лес. Растерявшийся милиционер схватился за револьвер, но Карабанов сказал ему с особенным выражением бандитской экспрессии:

– Брось, на черта он тебе сдался! Без одного жида будэ ярмарка.

Остромухов лесом пробрался в город и заявил, что он в колонию не хочет идти: он боится Карабанова. Но настойчивая комиссия не сжалилась над ним, и Остромухова, трепещущего в предсмертной тоске, привели в колонию.

Остромухова стали бить по всякому поводу и без всякого повода. Избивать, издеваться на каждом шагу: отнять хороший пояс или целую обувь и дать взамен их негодное рванье, каким-нибудь хитрым способом оставить без пищи или испортить пищу, дразнить без конца, поносить разными словами и, самое ужасное, всегда держать в страхе и презрении, – вот что встретило в колонии не только Остромухова, но и Шнайдера, и Глейсера, и Крайника. Бороться с этим оказалось невыносимо трудно. Все делалось в полной тайне, очень осторожно и почти без риска, потому что евреи прежде всего запугивались до смерти и боялись жаловаться. Только по косвенным признакам, по убитому виду, по молчаливому и несмелому поведению можно было

строить догадки, да просачивались самыми отдаленными путями, через дружеские беседы наиболее впечатлительных пацанов с воспитателями, неуловимые слухи.

Все же совершенно скрыть от педагогического персонала регулярное шельмование целой группы колонистов было нельзя, и пришло время, когда разгул антисемитизма в колонии ни для кого уже секретом не был. Установили и список насильников. Все это были старые наши знакомые: Бурун, Митягин, Волохов, Приходько, но самую заметную роль в этих делах играли двое: Осадчий и Таранец.

Живость, остроумие и организационные способности давно выдвинули Таранца в первые ряды колонистов, но приход более старших ребят не давал Таранцу простора. Теперь наклонность к преобладанию нашла выход в пуганье евреев и в издевательствах над ними. Осадчий был парень лет шестнадцати, угрюмый, упрямый, сильный и очень запущенный. Он гордился своим прошлым, но не потому, что находил в нем какие-либо красоты, а просто из упрямства, потому что это его прошлое и никому никакого дела нет до его жизни.

Осадчий имел вкус к жизни и всегда внимательно следил за тем, чтобы его день не проходил без радости. К радостям он был очень неразборчив и большей частью удовлетворялся прогулками на село Пироговку, расположенное ближе к городу и населенное полукулаками-полумещанами. Пироговка в то время блистала обилием интересных девчат и самогона; эти предметы и составляли главную радость Осадчего. Неизменным его спутником бывал известный колонистский лодырь и обжора Галатенко.

Осадчий носил умопомрачительную холку, которая мешала ему смотреть на свет божий, но, очевидно, составляла важное преимущество в борьбе за симпатии пироговских девчат. Из-под этой холки он всегда угрюмо и, кажется, с ненавистью поглядывал на меня во время моих попыток вмешаться в его личную жизнь: я не позволял ему ходить на Пироговку и настойчиво требовал, чтобы он больше интересовался колонией.

Осадчий сделался главным инквизитором евреев. Осадчий едва ли был антисемитом. Но безнаказанность *обидчиков* и беззащитность евреев давали ему возможность блистать в колонии первобытным остроумием и геройством.

Поднимать явную, открытую борьбу против шайки наших изуверов нужно было осмотрительно: она грозила тяжелыми расправами прежде всего для евреев; такие как Осадчий в крайнем случае не остановились бы и перед ножом. Нужно было или действовать исподволь и очень осторожно, или прикончить дело каким-нибудь взрывом.

Я начал с первого. Мне нужно было изолировать Осадчего и Таранца. Карабанов, Митягин, Приходько, Бурун относились ко мне хорошо, и я рассчитывал на их поддержку. Но самое большее, что мне удалось, – это уговорить их не трогать евреев. *Карабанов при этом кокетничал и доказывал, что ненавидит он Остромухова не потому, что он еврей, а потому, что «не можу забыть, як эта блоха водила меня под конвоем».*

– От кого их защищать? От всей колонии?

– Не ври, Семен. Ты знаешь – от кого.

– Что с того, что я знаю? Я пойду на защиту, так не привяжу к себе Остромухова, – все равно поймают и набьют еще хуже.

Митягин сказал мне прямо:

– Я за это дело не берусь – не с руки, а трогать не буду: они мне не нужны.

Задоров больше всех сочувствовал моему положению, но он не умел вступить в прямую борьбу с такими как Осадчий.

– Тут как-то нужно очень круто повернуть, не знаю. Да от меня все это скрывают, как и от вас. При мне никого не трогают.

Положение с евреями становилось тем временем все тяжелее. Их уже можно было ежедневно видеть в синяках, но при опросе они отказывались назвать тех, кто их избивает. Осад-

чий ходил по колонии гоголем и вызывающе посматривал на меня и на воспитателей из-под своей замечательной холки.

Я решил идти напролом и вызвал его в кабинет. Он решительно все отрицал, но всем своим видом показывал, что отрицает только из приличия, а на самом деле ему безразлично, что я о нем думаю.

– Ты избиваешь их каждый день.

– Ничего подобного, – говорил он неохотно.

Я пригрозил отправить его из колонии.

– Ну что ж. И отправляйте!

Он очень хорошо знал, какая это длинная и мучительная история – отправить из колонии. Нужно было долго хлопотать об этом в комиссии, представлять всякие опросы и характеристики, раз десять послать самого Осадчего на допрос да еще разных свидетелей.

Для меня, кроме того, не сам по себе Осадчий был занятен. На его подвиги взирала вся колония, и многие относились к нему с одобрением и с восхищением. Отправить его из колонии значило бы законсервировать эти симпатии в виде постоянного воспоминания о пострадавшем герое Осадчем, который ничего не боялся, никого не слушал, бил евреев, и его за это «засадили». Да и не один Осадчий орудовал против евреев. Таранец не был так груб, как Осадчий, но гораздо изобретательнее и тоньше. Он никогда их не бил и на глазах у всех относился к евреям даже нежно, но по ночам закладывал тому или другому между пальцами ног бумажки и поджигал их, а сам укладывался в постель и представлялся спящим. Или, достав машинку, уговаривал какого-нибудь дылду вроде Федоренко остричь Шнайдеру полголовы, а потом имитировать, что машинка испорчена, и куражиться над бедным мальчиком, когда тот ходит за ним и просит со слезами окончить стрижку.

Спасение во всех этих бедах пришло самым неожиданным и самым позорным образом.

Однажды вечером отворилась дверь моего кабинета, и Иван Иванович ввел Остромухова и Шнайдера, обоих окровавленных, плюющих кровью, но даже не плачущих от привычного страха.

– Осадчий? – спросил я.

Дежурный рассказал, что Осадчий за ужином приставал к Шнайдеру, бывшему дежурным по столовой, заставлял его переменять порцию, подавать другой хлеб, и, наконец, за то, что Шнайдер, подавая суп, нечаянно наклонил тарелку и коснулся пальцами супа, Осадчий вышел из-за стола и при дежурном, и при всей колонии ударил Шнайдера по лицу. Шнайдер, пожалуй, и промолчал бы, но дежурство оказалось не из трусливых, да у нас никогда и не было драк при дежурном. Иван Иванович приказал Осадчему выйти из столовой и пойти ко мне доложить. Осадчий из столовой направился к дверям, но в дверях остановился и сказал:

– Я к завколу пойду, но раньше этот жид у меня попоет!

Здесь произошло небольшое чудо. Остромухов, бывший всегда самым беззащитным из евреев, вдруг выскочил из-за стола и бросился к Осадчему:

– Я тебе не дам его бить!

Все это кончилось тем, что тут же, в столовой, Осадчий избил Остромухова, а выходя, заметил притаившегося в сенях Шнайдера и ударил его так сильно, что у того выскочил зуб. Ко мне Осадчий идти отказался.

В моем кабинете Остромухов и Шнайдер размазывали кровь по лицам грязными рукавами, но не плакали и, очевидно, прощались с жизнью. Я тоже был уверен, что если сейчас не разрешу до конца все напряжение, то евреям нужно будет немедленно спасаться бегством или приготовиться к настоящим мукам. Меня подавляло и прямо замораживало то безразличие к побоям в столовой, которое проявили все колонисты, даже такие как Задоров. Я вдруг почувствовал, что сейчас я так же одинок, как в первые дни колонии. Но в первые дни я и не ожидал

поддержки и сочувствия ниоткуда, это было естественное и заранее учтенное одиночество, а теперь я уже успел избаловаться и привыкнуть к постоянному сотрудничеству колонистов.

В кабинете вместе с потерпевшими находились несколько человек. Я сказал одному из них:

– Позови Осадчего.

Я был почти уверен, что Осадчий закусил удила и откажется прийти, и твердо решил в крайнем случае привести его сам, хотя бы и с револьвером.

Но Осадчий пришел, ввалился в кабинет в пиджаке внакидку, руки в карманах, по дороге двинул стулом. Вместе с ним пришел и Таранец. Таранец делал вид, что все страшно интересно и он пришел только потому, что ожидается занимательное представление.

Осадчий глянул на меня через плечо и спросил:

– Ну, я пришел… Чего?

Я показал ему на Остромухова и Шнайдера:

– Это что такое?

– Ну, что ж такое! Подумаешь!.. Два жидка. Я думал, вы что покажете.

И вдруг педагогическая почва с треском и грохотом провалилась подо мною. Я очутился в пустом пространстве. Тяжелые счеты, лежавшие на моем столе, вдруг полетели в голову Осадчего. Я промахнулся, и счеты со звоном ударились в стену и скатились на пол.

В полном беспамятстве я искал на столе что-нибудь тяжелое, но вдруг схватил в руки стул и ринулся с ним на Осадчего. Он в панике шарахнулся к дверям, но пиджак свалился с его плеч на пол, и Осадчий, запутавшись в нем, упал.

Я опомнился: кто-то взял меня за плечи. Я оглянулся, – на меня смотрел Задоров и улыбался:

– Не стоит того эта гадина!

Осадчий сидел на полу и начинал всхлипывать. На окне притаился бледный Таранец, у него дрожали губы.

– Ты тоже издевался над этими ребятами!

Таранец сполз с подоконника.

– Даю честное слово, никогда больше не буду!

– Вон отсюда!

Он вышел на цыпочках.

Осадчий наконец поднялся с полу, держа пиджак в руке, а другой рукой ликвидировал последний остаток своей нервной слабости – одинокую слезу на грязной щеке. Он смотрел на меня спокойно, серьезно.

– Четыре дня отсидишь в сапожной на хлебе и на воде.

Осадчий криво улыбнулся и, не задумываясь, ответил:

– Хорошо, я отсижу.

На второй день ареста он вызвал меня в сапожную и попросил:

– Я не буду больше, простите.

– О прощении будет разговор, когда отсидишь свой срок.

Отсидев четыре дня, он уже не просил прощения, а заявил угрюмо:

– Я ухожу из колонии.

– Уходи.

– Дайте документ.

– Никаких документов!

– Прощайте.

– Будь здоров.

[16] Чернильницы по-соседски

Куда ушел Осадчий, мы не знали. Говорили, что он отправился в Ташкент, потому что там все дешево и можно прожить весело, другие говорили, что у Осадчего в нашем городе дядя, а третьи поправляли, что не дядя, а знакомый извозчик.

Я никак не мог прийти в себя после нового педагогического падения. Колонисты приставали ко мне с вопросами, не слышал ли я чего-нибудь об Осадчем.

– Да что вам Осадчий? Чего вы так беспокоитесь?

– Мы не беспокоимся, – сказал Карабанов, – а только лучше, если бы он был здесь. Вам было б лучше…

– Не понимаю.

Карабанов глянул на меня мефистофельским глазом:

– Мабудь, нехорошо у вас там, на душе…

Я на него раскричался:

– Убирайтесь от меня с вашими душевными разговорами! Вы что вообразили? Уже и душа в вашем распоряжении?..

Карабанов тихонько отошел от меня.

В колонии звенела жизнь, я слышал здоровый и бодрый тон колонии, под моим окном звучали шутки и проказы между делом (все почему-то собирались под моим окном), никто ни на кого не жаловался. И Екатерина Григорьевна однажды сказала мне с таким выражением, будто я тяжелобольной, а она сестра милосердия:

– Вам нечего мучиться, пройдет.

– Да я и не мучусь. Пройдет, конечно. Как в колонии?

– Я и сама не знаю, как это объяснить. В колонии сейчас хорошо, человечно как-то. Евреи наши – прелесть: они немного испуганы всем, прекрасно работают и страшно смущаются. Вы знаете, старшие за ними ухаживают. Митягин, как нянька, ходит: заставил Глейзера вымыться, остриг, даже пуговицы пришил.

Да. Значит, все было хорошо. Но какой беспорядок и хлам заполняли мою педагогическую душу! Меня угнетала одна мысль: неужели я так и не найду, в чем секрет? Ведь вот, как будто в руках было, ведь только ухватить оставалось. Уже у многих колонистов по-новому поблескивали глаза… и вдруг все так безобразно сорвалось. Неужели все начинать сначала?

Меня возмущали безобразно организованная педагогическая техника и мое техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о педагогической науке:

«Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский![98] Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего нет. Какое-то *вековое* шарлатанство».

Об Осадчем я думал меньше всего. Я его вывел в расход, записал в счет неизбежных в каждом производстве убытков и брака. Его кокетливый уход еще меньше меня смущал.

Да, кстати, он скоро вернулся.

На нашу голову свалился новый скандал, при сообщении о котором я, наконец, узнал, что это значит, когда говорят, что волосы встали дыбом.

---

[98] *Иоганн Генрих Песталоцци* (1746–1827), выдающийся швейцарский педагог, автор педагогического романа «Лингард и Гертруда» (1781–1787 гг.); *Жан Жак Руссо* (1712–1778), знаменитый французский просветитель, философ, писатель, педагог, автор романа в письмах «Юлия, или Новая Элоиза» (1761 г.), романа-трактата «Эмиль, или О воспитании» (1762 г.); *Пауль Наторп* (1854–1924), известный немецкий философ и педагог; *Павел Петрович Блонский* (1884–1941), русский, советский педагог, психолог, историк философии, профессор, доктор педагогических наук.

В тихую морозную ночь шайка колонистов-горьковцев с участием Осадчего вступила в ссору с пироговскими парубками. Ссора перешла в драку: с нашей стороны преобладало холодное оружие – финки, с их стороны горячее – обрезы. Бой кончился в нашу пользу. Парубки были оттеснены с того места, где собирается улица, а потом позорно бежали и заперлись в здании сельсовета. К трем часам здание сельсовета было взято приступом, то есть выломаны двери и окна, и бой перешел в энергичное преследование. Парубки повыскакивали в те же двери и окна и разбежались по домам, а колонисты возвратились в колонию с великим торжеством.

Самое ужасное было в том, что сельсовет оказался разгромленным вконец, и на другой день в нем нельзя было работать. Кроме окон и дверей были приведены в негодность столы и лавки, разбросаны бумаги и разбиты чернильницы.

Бандиты утром проснулись, как невинные младенцы, и пошли на работу. В полдень пришел ко мне пироговский председатель и рассказал о событиях минувшей ночи.

Я смотрел с удивлением на этого старенького, щупленького, умного селянина: почему он со мною еще разговаривает, зачем он не зовет милицию, не берет под стражу всех этих мерзавцев и меня вместе с ними?

Но председатель повествовал обо всем не столько с гневом, сколько с грустью и больше всего беспокоился о том, исправит ли колония окна и двери, исправит ли столы и не может ли колония сейчас выдать ему, пироговскому председателю, две чернильницы?

Я прямо обалдел от удивления и никак не мог понять, чем объяснить такое «человеческое» отношение к нам со стороны власти. Потом я решил, что председатель, как и я, еще не может вместить в себя весь ужас событий: он просто бормочет кое-что, чтобы хоть как-нибудь «реагировать».

Я по себе судил: я сам был только способен кое-что бормотать:

– Ну, хорошо… конечно, мы все исправим… А чернильницы? Да вот эти можно взять.

Председатель взял чернильницы и осторожно собрал в левой руке, прижимая к животу. Это были обыкновенные невыливайки.

– Так мы все исправим. Я сейчас же пошлю мастера. Вот только со стеклом придется подождать, пока привезем из города.

Председатель посмотрел на меня с благодарностью.

– Да нет, можно и завтра. Тогда, знаете, как стекло будет, можно все сразу сделать…

– Ага… Ну хорошо, значит, завтра.

Отчего же он все-таки не уходит, этот шляпа-председатель?

– Вы домой сейчас? – спросил я его.

– Да.

Председатель оглянулся, достал из кармана желтый платок и вытер им совершенно чистые усы. Подвинулся ближе ко мне.

– Тут, понимаете, такое дело… Там вчера ваши хлопцы забрали… Та там, знаете, народ молодой… и мой там мальчишка. Ну, народ молодой, для баловства, ни для чего другого, боже борони… Как товарищи, знаете, заводят, ну и себе ж нужно… Я вже говорил: время такое, правда… что у каждого есть…

– Да в чем дело? – спросил я его. – Простите, не понимаю.

– Обрез, – сказал в упор председатель.

– Обрез?

– Обрез же.

– Так что?

– Ах ты, Господи, та ж кажу: ну баловались, чи што, ну… отож вчера произошло… Так ваши забрали… у моего, и еще там не знаю, може, и потерял кто, бо, знаете, народ выпивший… И где они самогонку эту достают?

– Кто народ выпивший?

– Ах ты, Господи, да кто ж… Да разве там разберешь? Я ж там не був, а разговоры такие, что ваши были все пьяные…

– А ваши?

Председатель замялся:

– Та я ж там не був… Што оно, правда, вчера воскресенье. Та я ж не про то. Дело, знаете, молодое, шо ж, и ваши мальчики, я ж ничего, ну, там… побились, никого ж и не убили и не поранили. Може, с ваших кого? – спросил он вдруг со страхом.

– Да с нашими я еще не говорил.

– Я не чув… а кто говорит, что были будто выстрелы, два чи три, те вже, мабудь, як тикалы, потому что ваши ж, знаете, народ горячий, а наши деревенские, конешно ж, пока повернулись туда-сюда… Хэ-хэ-хэ-хэ!..

Смеется старик и глазки сощурил, ласковый такой и родной-родной. Таких стариков «папашами» всегда называют. Смеюсь и я, глядя на него, а в душе беспорядок невыносимый.

– Значит, по-вашему, ничего страшного, – подрались и помирятся?

– Вот именно, вот именно, помирятся. Хиба ж, як я молодой був, хиба ж так за девок бились? Моего брата, Якова, так и до смерти прибили парубки. Вы вот хлопцев позовите, поговорите с ними, чтоб, знаете, больше такого не было.

Я вышел на крыльцо.

– Позови тех, кто был вчера на Пироговке.

– А где они? – спросил меня шустрый пацан, пробегавший по каким-то срочным делам по двору.

– Не знаешь разве, кто был вчера на Пироговке?

– О, вы хитрый… Я вам лучше Буруна позову.

– Ну, зови Буруна.

Бурун явился на крыльцо.

– Осадчий в колонии?

– Пришел, работает в столярной.

– Скажи ему вот что: вчера наши надебоширили на Пироговке, и дело очень серьезное.

– Да, у нас говорили хлопцы.

– Так вот, скажи сейчас Осадчему, чтобы все собрались ко мне, тут председатель сидит у меня. Да чтобы не брехали, может очень печально кончиться.

В кабинете набилось «пироговцев» полно: Осадчий, Приходько, Чобот, Опришко, Галатенко, Голос, Сорока, еще кто-то, не помню. Осадчий держался свободно, как будто у нас с ним ничего не было. При постороннем я не хотел вспоминать старое.

– Вы вчера были на Пироговке, были пьяные, хулиганили, вас хотели утихомирить, так вы побили парней, разгромили сельсовет. Так?

– Не совсем так, как вы говорите, – выступил Осадчий. – Это действительно, что хлопцы были на Пироговке, а я там три дня жил, потому ж, знаете… Пьяные не были, это неправда. Вот ихний Панас еще днем гулял с Сорокой, и Сорока действительно был выпивши… немножко, да. Голосу кто-то поднес по знакомству. А так все были как следует. И ни с кем мы не заедались, гуляли, как и все. А потом подходит один там, Харченко, ко мне и кричит: «Руки вверх!», а сам обрез на меня. Ну, я ему, правда, и дал по морде. Ну, тут и пошло… Они злы на нас, что девчата с нами больше…

– Что ж пошло?

– Да ничего, подрались. Если бы они не стреляли, ничего и не было бы. А Панас выстрелил, и Харченко тоже, ну, за ними и погнались. Мы их бить не хотели, только обрезы поотнимать, а они заперлись. Так Приходько – вы ж знаете его – как двинет…

– Двинет! Надвигали! Обрезы где? Сколько?

– Два.

Осадчий обернулся к Сороке:

– Принеси.

Принесли обрезы. Хлопцев я отпустил в мастерские. Председатель мялся возле обрезов:

– Так как же, можно забрать?

– Зачем же? Ваш сын не имеет права ходить с обрезом, и Харченко тоже. Я не имею права отдавать.

– Да нет, на что они мне? И не отдавайте, пусть у вас останутся, може, там в лесу когда попугать воров придется. Я к тому, знаете, вы вже не придавайте этому делу… Дело молодое, знаете.

– Это… чтобы я никуда не жаловался?

– Ну, конешно ж…

Я рассмеялся:

– Да зачем же? Мы по-соседски.

– Во-во, – обрадовался дед, – по-соседски… Чего не бывает! Да если все до начальства…

Ушел председатель, отлегло от сердца.

Собственно говоря, я еще обязан был всю эту историю размазать на педагогическом транспаранте. Но и я и хлопцы так были рады, что все кончилось благополучно, что обошлось без педагогики на этот раз. Я их не наказывал; они мне слово дали на Пироговку без моего разрешения не ходить и наладить отношения с пироговскими парубками.

[17] «Наш – найкращий»

К зиме 1922 года в колонии было шесть девочек. К тому времени выровнялась и замечательно похорошела Оля Воронова. Хлопцы заглядывались на нее не шутя, но Оля была со всеми одинаково ласкова, недоступна, и только Бурун был ее другом. За широкими плечами Буруна Оля никого не боялась в колонии и могла пренебрежительно относиться даже к влюбленности Приходько, самого сильного, самого глупого и бестолкового человека в колонии. Бурун не был влюблен, у них с Олей была действительно хорошая юношеская дружба; и это обстоятельство много прибавляло уважения среди колонистов и к Буруну, и к Вороновой. Несмотря на свою красоту, Оля не была сколько-нибудь заметной. Ей очень нравилось сельское хозяйство; работа на поле, даже самая тяжелая, ее увлекала, как музыка, и она мечтала:

– Как вырасту, обязательно за грака замуж выйду.

Верховодила у девчат Настя Ночевная. Прислали ее в колонию с огромнейшим пакетом, в котором много было написано про Настю: и воровка, и продавщица краденого, и содержательница «малины». И поэтому мы смотрели на Настю как на чудо. Это был исключительно честный и симпатичный человек. Насте не больше пятнадцати лет, но отличалась она дородностью, белым лицом, гордой посадкой головы и твердым характером. Она умела покрикивать на девчат без вздорности и визгливости, умела одним взглядом привести к порядку любого колониста и прочитать ему короткий внушительный выговор:

– Ты что это хлеб наломал и бросил? Богатым стал или у свиней техникум окончил? Убери сейчас же!..

И голос у Насти был глубокий, грудной, отдававший сдержанной силой.

Настя подружилась с воспитательницами, упорно и много читала и без всяких сомнений шла к намеченной цели – к рабфаку. Но рабфак был еще за далеким горизонтом для Насти, так же как и для других людей, стремившихся к нему: Карабанова, Вершнева, Задорова, Ветковского. Слишком уж были малограмотны наши первенцы и с трудом осиливали премудрости арифметики и политграмоты. Образованнее всех была Раиса Соколова, и ее мы отправили на киевский рабфак осенью 1921 года.

Собственно говоря, *это представлялось безнадежным предприятием* , но уж очень хотелось нашим воспитательницам иметь в колонии рабфаковку. Цель прекрасная, но Раиса мало подходила для такого святого дела. Целое лето она готовилась на рабфак, но к книжке ее приходилось загонять силой, потому что Раиса ни к какому образованию не стремилась.

Задоров, Вершнев, Карабанов – все люди, обладавшие вкусом к науке, – очень были недовольны, что на рабфаковскую линию выходит Раиса. Вершнев, колонист, отличавшийся замечательной способностью читать в течение круглых суток, даже в то время, когда он дует мехом в кузнице, большой правдолюб и искатель истины, всегда ругался, когда вспоминал о светозарном Раисином будущем. Заикаясь, он говорил мне:

– Как эттого нне пппонять? Раиса ввсе равно в ттюрьме кончит.

Карабанов выражался еще определеннее:

– Никогда не ожидал от вас такой дурости.

Задоров, не стесняясь присутствием Раисы, брезгливо улыбался и безнадежно махал рукой:

– Рабфаковка! Приклеили горбатого до стены.

Раиса кокетливо и сонно улыбалась в ответ на все эти сарказмы, и хотя на рабфак не стремилась, но была довольна: ей нравилось, что она поедет в Киев.

Я был согласен с хлопцами. Действительно, какая из Раисы рабфаковка! Она и теперь, готовясь на рабфак, получала из города какие-то подозрительные записки, тайком уходила из колонии; а к ней так же скрытно приходил Корнеев, неудавшийся колонист, пробывший в коло-

нии всего три недели, обкрадывавший нас сознательно и регулярно, потом попавшийся в краже в городе, постоянный скиталец по угрозыскам, существо в высшей степени гнилое и отвратительное, один из немногих людей, от которых я отказывался с первого взгляда на них. *Он и физически разлагался, носил в себе остатки всех венерических болезней, даром что было ему не больше восемнадцати. Корнеев был обилен многими достоинствами квалифицированного блатника: прыщавая и фатоватая физиономия, жиденькие волосики, примазанные по последней моде, хриплый, с присвистом тенорок и белые холёные руки.*

Колонисты возненавидели Корнеева с первого дня. За свое недолговечное пребывание в колонии он не сделал, кажется, ни одного дельного движения, больше лежал на кровати и прикладывал примочки к своим прыщам. Вечно у него были болезни, освобождавшие его от работы, а дармоедов колонисты научились ненавидеть очень рано.

Однажды Задоров, возвратившись с работы из второй колонии, увидел, что малыш Тоська, чаще называвшийся у нас «Антоном Семеновичем», принес Корнееву ужин в спальню. В это время у нас была уже приведена в порядок столовая в одном из домиков, и есть в спальне не разрешалось. Корнеев, по обыкновению, лежал на кровати и милостиво принял от «Антона Семеновича» миску с супом.

Задоров был одним из немногих, которые не боялись блатнищкой готовности Корнеева немедленно хвататься за нож.

Задоров спросил «Антона Семеновича»:

– Это что такое?

– Так он сказал.

Задоров взял миску и вылил суп за окно.

– Не большой барин.

Корнеев вскочил с кровати, но Задоров треснул его кулаком по голове и сказал:

– Слушай, ты, каракатица, уходи из колонии сегодня же, ничего из твоих затей не выйдет.

Сделал это Задоров потому, что во второй колонии выяснил: Корнеев организует в городе шайку для генерального ограбления кладовой колонии, подговаривает кое-кого из ребят, и только для этого и сидит у нас.

Корнеев собирался, кажется, еще подумать над советом Задорова, но ночью Задоров и его постоянный друг Волохов надели на Корнеева его франтовскую фуражку, вывели в лес, «стукнули по шее», по выражению Задорова, и только утром подробно поведали мне о принятых ими мерах. Я возражать не нашел нужным.

Корнеев продолжал оставаться покровителем Раисы. Он приходил в колонию поздно ночью, когда мог быть уверенным, что колония спит, условным сигналом вызывал Раису из спальни. На этой почве было еще столкновение, о котором я узнал очень не скоро. Хлопцы проведали о ночных визитах Корнеева, захватили его в лесу во время свидания с Раисой и крепко избили. Во время столкновения Карабанов отнял у Корнеева "браунинг". Это и было причиной того, что от меня случай скрыли: иметь "браунинг" было для Карабанова делом чести.

Связь Раисы с Корнеевым, вечная таинственность ее ночных приключений очень нервировали и пугали наших девочек. Даже Маруся Левченко, к этому времени наладившая свой характер и переставшая толковать о своей кончености, говорила:

– Раиска, выходи замуж за Корнеева, не погань колонии.

Настя Ночевная, спокойно улыбаясь, грозила:

– Я тебя не пущу в спальню когда-нибудь. Просто возьму веник и выгоню. Ты этого дождешься.

Поэтому все девочки были рады, когда Раиса наконец уехала в Киев.

Экзамен на рабфаке Раиса выдержала. Но через неделю после этого счастливого известия наши откуда-то узнали, что Корнеев тоже отправился в Киев.

– Вот теперь начнется настоящая наука, – сказал Задоров.

Проходила зима. Раиса изредка писала, но ничего нельзя было разобрать из ее писем. То казалось, что у нее все благополучно, то выходило, что с ученьем очень трудно, и всегда не было денег, хотя она и получала стипендию. Раз в месяц мы посылали ей двадцать-тридцать рублей. Задоров уверял, что на эти деньги Корнеев хорошо поужинает, и это было похоже на правду. Больше всего доставалось воспитательницам, инициаторам киевской затеи.

– Ну, вот, каждому человеку видно, что это не годится, а вам не видно. Как же это может быть: нам видно, а вам не видно?

В январе Раиса неожиданно приехала в колонию со всеми своими корзинками и сказала, что отпущена на каникулы. Но у нее не было никаких отпускных документов, и по всему ее поведению было видно, что возвращаться в Киев она не собирается. На мой запрос киевский рабфак сообщил, что Раиса Соколова перестала посещать институт и выехала из общежития неизвестно куда.

Вопрос был выяснен. Нужно отдать справедливость ребятам: они Раису не дразнили, не напоминали о неудачном рабфаке и как будто даже забыли обо всем этом приключении. В первые дни после ее приезда посмеялись всласть над Екатериной Григорьевной, которая и без того была смущена крайне, но вообще *сделали такой вид*, что случилась самая обыкновенная вещь, которую они и раньше предвидели.

В марте ко мне обратилась Осипова с тревожным сомнением: по некоторым признакам, Раиса беременна.

Я похолодел. *В то время еще не забылись старые, привычные глупости о бесчестном рождении ребенка, еще не совсем прошли проклятые времена незаконнорожденных.* Мы находились в положении усложненном: подумайте, в детской колонии воспитанница беременна. Я ощущал вокруг нашей колонии, в городе, в наробразе присутствие очень большого числа тех добродетельных ханжей, которые обязательно воспользуются случаем и поднимут страшный визг: в колонии половая распущенность, в колонии мальчики живут с девочками. Меня пугала и самая обстановка в колонии, и затруднительное положение Раисы как воспитанницы. Я просил Осипову поговорить с Раисой «по душам».

Раиса решительно отрицала беременность и даже обиделась:

– Ничего подобного! Кто это выдумал такую гадость? И откуда это пошло, что и воспитательницы стали заниматься сплетнями?

Осипова, бедная, в самом деле почувствовала, что поступила нехорошо. Раиса была очень полна, и кажущуюся беременность можно было объяснить просто нездоровым ожирением, тем более, что на вид действительно определенного ничего не было. Мы Раисе поверили.

Но через неделю Задоров вызвал меня вечером во двор, чтобы поговорить наедине.

– Вы знаете, что Раиса беременна?

– А ты откуда знаешь?

– Вот чудак! Да что же, не видно, что ли? Это все знают, – я думал, что и вы знаете.

– Ну, а если беременна, так что?

– Да ничего… Только чего она скрывает это? Ну, беременна – и беременна, а чего вид такой делает, что ничего подобного. Да вот и письмо от Корнеева. Тут… видите? – «дорогая женушка». Да мы это и раньше знали.

Беспокойство усилилось и среди педагогов. Наконец меня вся история начала злить.

– Ну чего так беспокоиться? Беременна, значит, родит. Если теперь скрывает, то родов нельзя же будет скрыть. Ничего ужасного нет, будет ребенок, вот и все.

Я вызвал Раису к себе и спросил:

– Скажи, Раиса, правду: ты беременна?

– И чего ко мне все пристают? Что это такое, в самом деле, – пристали все, как смола: беременна да беременна! Ничего подобного, понимаете или нет?

Раиса заплакала.

– Видишь ли, Раиса, если ты беременна, то не нужно этого скрывать. Мы тебе поможем устроиться на работу, хотя бы и у нас в колонии, поможем и деньгами. Для ребенка все нужно же приготовить, пошить и все такое…

– Да ничего подобного! Не хочу я никакой работы, отстаньте!

– Ну, хорошо, иди.

Так ничего в колонии и не узнали. Можно было бы отправить ее к врачу на исследование, но по этому вопросу мнения педагогов разделились. Одни настаивали на скорейшем выяснении дела, другие поддерживали меня и доказывали, что для девушки такое исследование очень тяжело и оскорбительно, что, наконец, и нужды в таком исследовании нет, – все равно рано или поздно вся правда выяснится, да и куда спешить: если Раиса беременна, то не больше как на пятом месяце. Пусть она успокоится, привыкнет к этой мысли, а тем временем и скрывать уже станет трудно.

Раису оставили в покое.

Пятнадцатого апреля в городском театре было большое собрание педагогов, на этом собрании я читал доклад о дисциплине. В первый вечер мне удалось закончить доклад, но вокруг моих положений развернулись страстные прения, пришлось обсуждение доклада перенести на второй день. В театре присутствовали почти все наши воспитатели и кое-кто из старших колонистов. Ночевать мы остались в городе.

Колонией в то время уже заинтересовались не только в нашей губернии, и на другой день народу в театре было видимо-невидимо. Между прочими вопросами, какие мне задавали, был и вопрос о совместном воспитании. Тогда совместное воспитание в колониях для правонарушителей было запрещено законом; наша колония была единственной в Союзе, проводившей опыт совместного воспитания.

Отвечая на вопрос, я мельком вспомнил о Раисе, но даже возможная беременность ее в моем представлении не меняла ничего в вопросе о совместном воспитании. Я доложил собранию о полном благополучии у нас в этой области.

Во время перерыва меня вызвали в фойе. Я наткнулся на запыхавшегося Братченко: он верхом прилетел в город и не захотел сказать ни одному из воспитателей, в чем дело.

– У нас несчастье, Антон Семенович. У девочек в спальне нашли мертвого ребенка.

– Как – мертвого ребенка?!

– Мертвого, совсем мертвого. В корзинке Раисиной. Ленка мыла полы и зачем-то заглянула в корзинку, может, взять что хотела, а там – мертвый ребенок.

– Что ты болтаешь?

Что можно сказать о нашем самочувствии? Я никогда еще не переживал такого ужаса. Воспитательницы, бледные и плачущие, кое-как выбрались из театра и на извозчике поехали в колонию. Я не мог ехать, так как мне еще нужно было отбиваться от нападений на мой доклад.

– Где сейчас ребенок? – спросил я Антона.

– Иван Иванович запер в спальне. Там, в спальне.

– А Раиса?

– Раиса сидит в кабинете, там ее стерегут хлопцы.

Я послал Антона в милицию с заявлением о находке, а сам остался продолжать разговоры о дисциплине.

Только к вечеру я был в колонии. Раиса сидела на деревянном диване в моем кабинете, растрепанная и в грязном переднике, в котором она работала в прачечной. Она не посмотрела на меня, когда я вошел, и еще ниже опустила голову. На том же диване Вершнев обложился книгами: очевидно, он искал какую-то справку, потому что быстро перелистывал книжку за книжкой и ни на кого не обращал никакого внимания.

Я распорядился снять замок на дверях спальни и корзинку с трупом перенести в бельевую кладовку. Поздно вечером, когда все разошлись спать, я спросил Раису:

– Зачем ты это сделала?

Раиса подняла голову, посмотрела на меня тупо, как животное, и поправила фартук на коленях.

– Сделала – и все.

– Почему ты меня не послушала?

Она вдруг тихо заплакала.

– Я сама не знаю.

Я оставил ее ночевать в кабинете под охраной Вершнева, читательская страсть которого гарантировала его совершеннейшую бдительность. Мы все боялись, что Раиса над собой что-нибудь сделает.

Наутро приехал следователь, следствие заняло немного времени, допрашивать было некого. Раиса рассказала о своем преступлении в скупых, но точных выражениях. Родила она ребенка ночью, тут же в спальне, в которой спали еще пять девочек. Ни одна из них не проснулась. Раиса объяснила это, как самое простое дело:

– Я старалась не стонать.

Немедленно после родов она задушила ребенка платком. Отрицала преднамеренное убийство:

– Я не хотела так сделать, а он стал плакать.

Она спрятала труп в корзинку, с которой ездила на рабфак, и рассчитывала в следующую ночь вынести его и бросить в лесу. Думала, что лисицы его съедят и никто ничего не узнает. Утром пошла на работу в прачечную, где девочки стирали свое белье. Завтракала и обедала со всеми колонистами, была только «скучная», по словам хлопцев.

Следователь увез Раису с собой, а труп распорядился отправить в трупный покой одной из больниц для вскрытия.

Педагогический персонал этим событием был деморализован до последней степени. Думали, что для колонии настали последние времена.

Колонисты были в несколько приподнятом настроении. Девочек пугала вечерняя темнота и собственная спальня, в которой они ни за что не хотели ночевать без мальчиков. Несколько ночей у них в спальне торчали Задоров и Карабанов. Все это кончилось тем, что ни девочки, ни мальчики не спали и даже не раздевались. Любимым занятием хлопцев в эти дни стало пугать девчат: они являлись под окнами в белых простынях, устраивали кошмарные концерты в печных ходах, тайно забирались под кровать Раисы и вечером оттуда пищали благим матом.

К самому убийству хлопцы отнеслись, как к очень простой вещи. При этом все они составляли оппозицию воспитателям в объяснении возможных побуждений Раисы. Педагоги были уверены, что Раиса задушила ребенка в припадке девичьего стыда: в напряженном состоянии среди спящей спальни действительно нечаянно запищал ребенок, – стало страшно, что вот-вот проснутся.

Задоров разрывался на части от смеха, выслушивая эти объяснения слишком психологически настроенных педагогов.

– Да бросьте эту чепуху говорить! Какой там девичий стыд! Заранее все было обдумано, потому и не хотела признаться, что скоро родит. Все заранее обдумали и обсудили с Корнеевым. И про корзинку заранее, и чтобы в лес отнести. Если бы она от стыда сделала, разве она так спокойно пошла бы на работу утром? Я бы эту самую Раису, если бы моя воля, завтра застрелил бы. Гадиной была, гадиной всегда и останется. А вы про девичий стыд! Да у нее никакого стыда никогда не было.

– В таком случае какая же цель, зачем это она сделала? – ставили педагоги убийственный вопрос.

– Очень простая цель: на что ей ребенок? С ребенком возиться нужно – и кормить и все такое. Очень нужен им ребенок, особенно Корнееву.

– Ну-у! Это не может быть…

– Не может быть? Вот чудаки! Конечно, Раиса не скажет, а я уверен, если бы ее взять в работу, так там такое откроется…

Ребята были согласны с Задоровым без малейших намеков на сомнение. Карабанов был уверен в том, что «такую штуку» Раиса проделывает не в первый раз, что еще до колонии, наверное, что-нибудь было.

На третий день после убийства Карабанов отвез труп ребенка в какую-то больницу. Возвратился он в большом воодушевлении:

– Ой, чого я там тилько не бачив! Там в банках понаставлено всяких таких пацанов, мабудь, десятка три. Там таки страшни: з такою головою, одно – ножки скрючило и не разберешь, чи чоловик, чи жаба якая. Наш – куди! Наш – найкращий.

Екатерина Григорьевна укоризненно покачала головой, но и она не могла удержаться от улыбки:

– Ну что вы говорите, Семен, как вам не стыдно!

Кругом хохочут ребята, им уже надоели убитые, постные физиономии воспитателей.

Через три месяца Раису судили. В суд был вызван весь педсовет колонии имени Горького. В суде царствовали психология и теория девичьего стыда. Судья укорял нас за то, что мы не воспитали правильного взгляда. Протестовать мы, конечно, не могли. Меня вызвали на совещание суда и спросили:

– Вы ее снова можете взять в колонию?

– Конечно.

Раиса была приговорена условно на восемь лет и немедленно отдана под ответственный надзор в колонию.

К нам она возвратилась как ни в чем не бывало, принесла с собою великолепные желтые полусапожки и на наших вечеринках блистала в вихре вальса, вызывая своими полусапожками непереносимую зависть наших прачек и девчат с Пироговки.

Настя Ночевная сказала мне:

– Вы Раису убирайте с колонии, а то мы ее сами уберем. Отвратительно жить с нею в одной комнате.

Я поспешил устроить ее на работу на трикотажной фабрике.

Я несколько раз встречал ее в городе. В 1928 году я приехал в этот город по делам и неожиданно за буфетной стойкой одной из столовых увидел Раису и сразу ее узнал: она раздобрела и в то же время стала мускулистее и стройнее.

– Как живешь?

– Хорошо. Работаю буфетчицей. Двое детей и муж хороший – *партиец*.

– Корнеев? *Партиец?*

– Э, нет, – улыбнулась она, – старое забыто. Его зарезали на улице давно… А знаете что, Антон Семенович?

– Ну?

– Спасибо вам, тогда не утопили меня. Я как пошла на фабрику, с тех пор старое выбросила.

[18] Габерсуп

Весною нагрянула на нас новая беда – сыпной тиф. Первым заболел Костя Ветковский. *Его влияние в колонии было огромно: он был самый культурный колонист, умен, приветлив, очень вежлив. Но в то же время он умел, не теряя достоинства, быть хорошим товарищем и очень много помогал ребятам в их школьных делах. Его все любили.*

Врача в колонии не было. Екатерина Григорьевна, побывавшая когда-то в медицинском институте, врачевала в тех необходимых случаях, когда и без врача обойтись невозможно и врача приглашать неловко. Ее специальностью уже в колонии сделалась чесотка и скорая помощь при порезах, ожогах, ушибах, а зимой, благодаря несовершенству нашей обуви, у нас много было ребят с отмороженными ногами. Вот, кажется, и все болезни, которыми снисходительно болели колонисты, – они не отличались склонностью возиться с врачами и лекарствами.

Я всегда относился к колонистам с глубоким уважением именно за их медицинскую непритязательность и сам многому у них в этой области научился. У нас сделалось совершенно привычным не считаться больным при температуре в тридцать восемь градусов, и соответствующей выдержкой мы один перед другим щеголяли. Впрочем, это было почти необходимым просто потому, что врачи к нам очень неохотно ездили.

Вот почему, когда заболел Костя и у него оказалась температура под сорок, мы отметили это как новость в колонистском быту. Костю уложили в постель и старались оказать ему всяческое внимание. По вечерам у его постели собирались приятели, а так как к нему многие относились хорошо, то его вечером окружала целая толпа. Чтобы не лишать Костю общества и не смущать ребят, мы тоже у кровати больного проводили вечерние часы.

Дня через три Екатерина Григорьевна тревожно сообщила мне о своем беспокойстве: очень похоже на сыпной тиф. Я запретил ребятам подходить к его постели, но изолировать Костю как-нибудь по-настоящему было все равно невозможно: приходилось и заниматься в той же комнате и собираться вечером.

Еще через день, когда Ветковскому стало очень плохо, мы завернули его в ватное одеяло, которым он укрывался, усадили в фаэтон, и я повез его в город.

В приемной больницы ходят, лежат и стонут человек сорок. Врача долго нет. Видно, что тут давно сбились с ног и что помещение больного в больницу ничего особенно хорошего ему не сулит. Наконец приходит врач. Лениво подымает рубашку у нашего Ветковского, старчески кряхтит и лениво говорит записывающему фельдшеру:

– Сыпной. В больничный городок.

За городом, в поле, от войны осталось десятка два деревянных бараков. Я долго брожу между сестрами, больными, санитарами, выносящими закрытые простынями носилки. Говорят, что больного должен принять дежурный фельдшер, но никто не знает, где он, и никто не хочет его найти. Я, наконец, теряю терпение и набрасываюсь на ближайшую сестру, употребляя слова: «безобразие», «бесчеловечно», «возмутительно». Мой гнев приносит пользу: Костю раздевают и куда-то ведут.

Возвратясь в колонию, я узнал, что слегли с такой же температурой Задоров, Осадчий и Белухин. Задорова, впрочем, я застал еще на ногах в тот самый момент, когда он отвечал на уговор Екатерины Григорьевны лечь в постель.

– И какая вы женщина странная! Ну, чего я лягу? Я вот сейчас пойду в кузницу, там меня Софрон моментально вылечит…

– Как вас Софрон вылечит? Что вы говорите глупости!..

– А вот тем самым, что и себя лечит: самогон, перец, соль, олеонафт и немного колесной мази! – заливается Задоров по обыкновению выразительно и открыто.

– Смотрите, Антон Семенович, до чего вы их распустили? – обращается ко мне Екатерина Григорьевна. – Он будет лечиться у Софрона! Ступайте, укладывайтесь!

От Задорова несло страшным жаром, и было видно, что он еле держится на ногах. Я взял его за локоть и молча направил в спальню. В спальне уже лежали в кроватях Осадчий и Белухин. Осадчий страдал и был недоволен своим состоянием. Я давно заметил, что такие «боевые» парни всегда очень трудно переносят болезнь. Зато Белухин, по обыкновению, был в радужном настроении.

Не было в колонии человека веселее и радостнее Белухина. Он происходил из столбового рабочего рода в Нижнем Тагиле; во время голода отправился за хлебом, в Москве был задержан при какой-то облаве и помещен в детский дом, оттуда убежал и освоился на улице, снова был задержан и снова убежал. Как человек предприимчивый, он старался не красть, а больше спекулировал, но сам потом рассказывал о своих спекуляциях с добродушным хохотом: так они были всегда смелы, своеобразны и неудачны. Наконец Белухин убедился, что он для спекуляции не годится, и решил ехать на Украину.

Белухин когда-то учился в школе, знал обо всем понемножку, парень был разбитной и бывалый, но на удивление и дико неграмотный. Бывают такие ребята: как будто всю грамоту изучил, и дроби знает, и о процентах имеет понятие, но все это у него удивительно коряво и даже смешно получается. Белухин и говорил на таком же корявом языке, тем не менее умном и с огоньком.

Лежа в тифу, он был неистощимо болтлив, и, как всегда, его остроумие удваивалось случайно-комическим сочетанием слов:

– Тиф – это медицинская интеллигентность, так почему она прицепилась к рабочему от природы? Вот когда социализм уродится, тогда эту бациллу и на порог не пустим, а если, скажем, ей приспичит по делу: паек получить или что, потому что и ей же, по справедливости, жить нужно, так обратись к моему секретарю – писателю. А секретарем приклепаем Кольку Вершнева, потому он с книжкой, как собака с блохой, не разлучается. Колька интеллигентность совершит, и ему – что блоха, что бацилла – соответствует по демократическому равносилию.

– Я буду секретарем, а ты что будешь делать при социализме? – спрашивает Колька Вершнев, заикаясь.

Колька сидит в ногах у Белухина, по обыкновению с книжкой, по обыкновению взлохмаченный и в изодранной рубашке.

– А я буду законы писать, как вот тебя одеть, чтобы у тебя приспособленность к человечеству была, а не как к босяку, потому что это возмущает даже Тоську Соловьева: какой же ты читатель, если ты на обезьяну похож? Да и то, не у всякого обезьянщика такая обезьяна черная выступает. Правда ж, Тоська?

Хлопцы хохотали над Вершневым. Вершнев не сердился и любовно посматривал на Белухина серыми добрыми глазами. Они были большими друзьями, пришли в колонию вместе и рядом работали в кузнице, только Белухин уже стоял у наковальни, а Колька предпочитал дуть мехом, чтобы иметь одну свободную руку для книжки.

Тоська Соловьев, чаще называвшийся Антоном Семеновичем, – были мы с ним двойные тезки – имел от роду только десять лет. Он был найден Белухиным в нашем лесу умирающим от голода и уже в беспамятстве. На Украину он выехал из Самарской губернии вместе с родителями, в дороге потерял мать, а что потом было, и не помнит. У Тоськи хорошенькое, ясное детское лицо, и оно всегда обращено к Белухину. Тоська, видимо, прожил свою маленькую жизнь без особенно сильных впечатлений, и его навсегда поразил и приковал к себе этот веселый, уверенный зубоскал Белухин, который органически не мог бояться жизни и всему на свете знал цену.

Тоська стоит в головах у Белухина, и его глазенки горят любовью и восхищением. Он звенит взрывным дискантным смехом ребенка:

– Черная обезьяна!

– Вот Тоська у меня будет молодец, – Белухин вытаскивает его из-за кровати.

Тоська в смущении склоняется на белухинский живот, покрытый ватным одеялом.

– Слушай, Тоська, ты книжки не так читай, как Колька, а то, видишь, он всякую сознательность заморочил себе.

– Не он книжки читает, а книжки его читают, – сказал Задоров с соседней кровати.

Я сижу рядом за партией в шахматы с Карабановым и думаю. «Они, кажется, забыли, что у них тиф».

– Кто-нибудь там, позовите Екатерину Григорьевну.

Екатерина Григорьевна приходит в образе гневного ангела.

– Это что за нежности? Почему здесь Тоська вертится? Вы соображаете что-нибудь? Это ни на что не похоже!

Тоська испуганно срывается с кровати и отступает. Карабанов цепляется за его руку, приседает и в паническом ужасе дурашливо отшатывается в угол:

– И я боюсь…

Задоров хрипит:

– Тоська, так ты же и Антона Семеновича возьми за руку. Что же ты его бросил?

Екатерина Григорьевна беспомощно оглядывается среди радостной толпы.

– Совершенно так, как у зулусов.

– Зулусы – это которые без штанов ходят, а для продовольствия употребляют знакомых, – говорит важно Белухин. – Подойдет этак к барышне: «Позвольте вас сопроводить». Та, конечно, рада: «Ах, зачем же, я сама проводюся». – «Нет, как же можно, разве можно, чтобы самой?» Ну, до переулка доведет и слопает. И даже без горчицы.

Из дальнего угла раздается заливчатый дискант Тоськи. И Екатерина Григорьевна улыбается:

– Там барышень едят, а здесь малых детей пускают к тифозному. Все равно.

Вершнев находит момент отомстить Белухину:

– Зззулусы нне едят ннникаких ббарышень. И, конечно, кккультурнее ттебя. Зззаразишь Тттоську.

– А вы, Вершнев, почему сидите на этой кровати? – замечает его Екатерина Григорьевна. – Немедленно уходите отсюда!

Вершнев смущенно начинает собирать свои книжки, разбросанные на кровати Белухина.

Задоров вступается:

– Он не барышня. Его Белухин не будет шамать.

Тоська уже стоит рядом с Екатериной Григорьевной и говорит как будто задумчиво:

– Матвей не будет есть черную обезьяну.

Вершнев под одной рукой уносит целую кучу книг, а под другой неожиданно оказывается Тоська, дрыгает ногами, хохочет. Вся эта группа сваливается на кровать Вершнева, в самом дальнем углу.

Наутро глубокий воз, изготовленный по проекту Калины Ивановича и немного похожий на гроб, наполнен до отказа. Завернутые в одеяла, сидят на дне подводы наши тифозные. На края гроба положена доска, и на ней возвышаемся мы с Братченко. На душе у меня скверно, потому что предчувствую повторение той же канители, которая встретила Ветковского. И нет у меня никакой уверенности, что ребята едут именно лечиться. *В общей свалке несчастья они меньше всех могут надеяться на счастливый случай, а тем более на чью-либо заботу.*

Осадчий лежит на дне и судорожно стягивает одеяло на плечах. Из одеяла выглядывает черно-серая вата, у моих ног я вижу ботинок Осадчего, корявый и истерзанный. Белухин надел одеяло на голову, построил из него трубку и говорит:

– Народы эти подумают, что попы едут. Зачем такую массу попов везут?

Задоров улыбается в ответ, и по этой улыбке видно, как ему плохо.

В больничном городке прежняя обстановка. Я нахожу сестру, которая работает в палате, где лежит Костя. Она с трудом затормаживает стремительный бег по коридору.

– Ветковский? Кажется, в этой палате…

– В каком он состоянии?

– Еще ничего не известно.

Антон за ее спиной дергает кнутом по воздуху:

– Вот еще: неизвестно! Как же это – неизвестно?

– Это с вами мальчик? – сестра брезгливо смотрит на отсыревшего, пахнущего навозом Антона, к штанам которого прицепились соломинки.

– Мы из колонии имени Горького, – начинаю я осторожно. – Здесь наш воспитанник Ветковский. А сейчас я привез еще троих, кажется, тоже с тифом.

– Так вы обратитесь в приемную.

– Да в приемной толпа. А кроме того, я хотел бы, чтобы ребята были вместе.

– Мы не можем всяким капризам потурать!

Так и сказала: «потурать». И двинулась вперед.

Но Антон у нее на дороге:

– Как же это? Вы же можете поговорить с человеком!

– Идите в приемную, товарищи, нечего здесь разговаривать.

Сестра рассердилась на Антона, рассердился на Антона и я:

– Убирайся отсюда, не мешай!

Антон никуда, впрочем, не убирается. Он удивленно смотрит на меня и на сестру, а я говорю сестре тем же раздраженным тоном:

– Дайте себе труд выслушать два слова. Мне нужно, чтобы ребята выздоровели обязательно. За каждого выздоровевшего я уплачиваю два пуда пшеничной муки. Но я бы желал иметь дело с одним человеком. Ветковский у вас, устройте так, чтобы и остальные ребята были у вас.

Сестра обалдевает, вероятно, от оскорбления.

– Как это – «пшеничной муки»? Что это – взятка? Я не понимаю!

– Это не взятка – это премия, понимаете? Если вы не согласны, я найду другую сестру. Это не взятка: мы просим некоторого излишнего внимания к нашим больным, некоторой, может быть, добавочной работы. Дело, видите ли, в том, что они плохо питались, и у них нет, понимаете, родственников.

– Я без пшеничной муки возьму их к себе, если вы хотите. Сколько их?

– Сейчас я привез троих, но, вероятно, еще привезу.

– Ну, идемте.

Я и Антон идем за сестрой. Антон хитро щурит глаза и кивает на сестру, но, видимо, и он поражен таким оборотом дела. Он покорно принимает мое нежелание отвечать его гримасам.

Сестра нас проводит в какую-то комнату в дальнем углу больницы. Антон привел наших больных.

У всех, конечно, тиф. Дежурный фельдшер несколько удивленно рассматривает наши ватные одеяла, но сестра убедительным голосом говорит ему:

– Это из колонии имени Горького, отправьте их в мою палату.

– А разве у вас есть места?

– Это мы устроим. Двое сегодня выписываются, а третью кровать найдем, где поставить.

Белухин весело с нами прощается:

– Привозите еще, теплее будет.

Его желание мы исполнили через день: привезли Голоса и Шнайдера, а через неделю еще троих.

На этом, к счастью, и кончилось.

Несколько раз Антон заезжал в больницу и узнавал у сестры, в каком положении наши дела. Тифу не удалось ничего поделать с колонистами.

Мы уже собирались кое за кем ехать в город, как вдруг в звенящий весенний полдень из лесу вышла тень, завернутая в ватное одеяло. Тень прямо вошла в кузницу и запищала:

– Ну, хлебные токари, как вы тут живете? А ты все читаешь? Смотри, вон у тебя мозговая нитка из уха лезет…

Ребята пришли в восторг: Белухин, хоть и худой и почерневший, был по-прежнему весел и ничего не боялся в жизни.

Екатерина Григорьевна накинулась на него: зачем пришел пешком, почему не подождал, пока приедут?

– Видите ли, Екатерина Григорьевна, я бы и подождал, но очень уж по шамовке соскучился. Как подумаю: там же наши житный хлеб едят, и кондёр едят, и кашу едят по полной миске, – так, понимаете, такая тоска у меня по всей психологии распространяется… не могу я наблюдать, как они этот габерсуп… ха-ха-ха-ха!..

– Что за габерсуп?

– Да это, знаете, Гоголь такой суп изобразил, так мне страшно понравилось.[99] И в больнице этот габерсуп полюбили употреблять, а я как увижу его, так такая смешливость в моем организме, – не могу себя никак приспособить: хохочу, и все. Аж сестра уже ругаться начала, а мне после того еще охотнее – смеюсь и смеюсь. Как вспомню: габерсуп… А есть никак не могу: только за ложку – умираю со смеху. Так я и ушел от них… У вас что, обедали? Каша небось сегодня?

Екатерина Григорьевна достала где-то молока: нельзя же больному сразу кашу!

Белухин радостно поблагодарил:

– Вот спасибо, уважили умирающего.

Но молоко все же вылил в кашу. Екатерина Григорьевна махнула на него рукой.

Скоро возвратились и остальные.

Сестре Антон отвез на квартиру мешок белой муки.

[99] О габерсупе речь идет в пьесе русского писателя *Николая Васильевича Гоголя* (1809–1852) «Ревизор» (пост. 1836 г.), 1 акт, 3 действие.

[19] Шарин на расправе

Забывался постепенно «наш найкращий», забывались тифозные неприятности, забывалась зима с отмороженными ногами, с рубкой дров и «ковзалкой», но не могли забыть в наробразе моих «аракчеевских[100]» формул дисциплины. Разговаривать со мной в наробразе начали тоже почти по-аракчеевски:

– Мы этот ваш жандармский опыт прихлопнем. Нужно строить соцвос, а не застенок.

В своем докладе о дисциплине я позволил себе усомниться в правильности общепринятых в то время положений, утверждающих, что наказание воспитывает раба, что необходимо дать полный простор творчеству ребенка, нужно больше всего полагаться на самоорганизацию и самодисциплину. Я позволил себе выставить несомненное для меня утверждение, что, пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и должен не отказываться от принуждения. Я утверждал также, что нельзя основывать все воспитание на интересе, что воспитание чувства долга часто становится в противоречие с интересом ребенка, в особенности так, как он его понимает. Я требовал воспитания закаленного, крепкого человека, могущего проделывать и неприятную работу, и скучную работу, если она вызывается интересами коллектива.

В итоге, я отстаивал линию создания сильного, если нужно, и сурового, воодушевленного коллектива, и только на коллектив возлагал все надежды; мои противники тыкали мне в нос аксиомами педологии[101] и танцевали только от «ребенка».

Я был уже готов к тому, что колонию «прихлопнут», но злобы дня в колонии – посевная кампания и все тот же ремонт второй колонии – не позволяли мне специально страдать по случаю наробразовских гонений. Кто-то меня, очевидно, защищал, потому что меня не прихлопывали очень долго. А чего бы, кажется, проще: взять и снять с работы.

Но в наробраз я старался не ездить: слишком неласково и даже пренебрежительно со мной там разговаривали. Особенно заедал меня один из инспекторов, Шарин – очень красивый, кокетливый брюнет с прекрасными вьющимися волосами, победитель сердец губернских дам. У него толстые, красные и влажные губы и круглые подчеркнутые брови. Кто его знает, чем он занимался до 1917 года, но теперь он великий специалист как раз по социальному воспитанию. Он прекрасно усвоил несколько сот модных терминов и умел бесконечно низать пустые словесные трели, убежденный, что за ними скрываются *замечательные* педагогические и революционные ценности.

Ко мне он относился высокомерно-враждебно с того дня, когда я не удержался от действительно неудержимого смеха.

Заехал он как-то в колонию. В моем кабинете увидел на столе барометр-анероид.

– Что это за штука? – спросил он.

– Барометр.

– Какой барометр?

– Барометр, – удивился я, – погоду у нас предсказывает.

– Предсказывает погоду? Как же он может предсказывать погоду, когда он стоит у вас на столе? Ведь погода не здесь, а на дворе.

---

[100] *Аракчеевщина* – политика крайней реакции, политического деспотизма, проводившаяся *Алексеем Андреевичем Аракчеевым* (1769–1834) – русским государственным деятелем.

[101] *Педология* – наука о ребенке, возникшая в конце XIX – начале XX в. в США, имеющая практико-ориентированный характер и ставящая задачу всестороннего изучения ребенка и составления целостного представления о его жизни и психическом развитии. Постановление ЦК ВКП (б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов» фактически наложило запрет на исследования в области возрастной психологии и педагогического поиска экспериментального характера.

Вот в этот момент я и расхохотался неприлично, неудержимо. Если бы Шарин не имел такого ученого вида, если бы не его приват-доцентская шевелюра, если бы не его апломб ученого!

Он очень рассердился:

– Что вы смеетесь? А еще педагог. Как вы можете воспитывать ваших воспитанников? Вы должны мне объяснить, если видите, что я не знаю, а не смеяться.

Нет, я не способен был на такое великодушие – я продолжал хохотать. Когда-то я слышал анекдот, почти буквально повторявший мой разговор с Шариным о барометре, и мне показалось удивительно забавным, что такие глупые анекдоты повторяются в жизни и что в них принимают участие инспектора губнаробраза.

Шарин обиделся и уехал.

Во время моего доклада о дисциплине он меня «крыл» беспощадно:

– Локализованная система медико-педагогического воздействия на личность ребенка, поскольку она дифференцируется в учреждении социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она согласуется с естественными потребностями ребенка и насколько она выявляет творческие перспективы в развитии данной структуры – биологической, социальной и экономической. Исходя из этого, мы констатируем…

Он в течение двух часов, почти не переводя духа и с полузакрытыми глазами, давил собрание подобной ученой резиной, но закончил с чисто житейским пафосом:

– Жизнь есть веселость.

Вот этот самый Шарин и нанес мне сокрушительный удар весною 1922 года.

Особый отдел Первой запасной прислал в колонию воспитанника с требованием обязательно принять. И раньше Особый отдел и ЧК,[102] случалось, присылали ребят. Принял. Через два дня меня вызвал Шарин.

– Вы приняли Евгеньева?

– Принял.

– Какое вы имели право принять воспитанника без нашего разрешения?

– Прислал Особый отдел Первой запасной.

– Что мне Особый отдел? Вы не имеете права принимать без нашего разрешения.

– Я не могу не принять, если присылает Особый отдел. А если вы считаете, что он присылать не может, то как-нибудь уладьте с ним этот вопрос. Не могу же я быть судьей между вами и Особым отделом.

– Немедленно отправьте Евгеньева обратно.

– Только по вашему письменному распоряжению.

– Для вас должно быть действительно и мое устное распоряжение.

– Дайте письменное распоряжение.

– Я ваш начальник и могу вас сейчас арестовать на семь суток за неисполнение моего устного распоряжения.

– Хорошо, арестуйте.

Я видел, что человеку очень хочется использовать свое право арестовать меня на семь суток. Зачем искать другие поводы, когда уже есть повод?

– Вы не отправите мальчика?

– Не отправлю без письменного приказа. Мне выгоднее, видите ли, быть арестованным товарищем Шариным, чем Особым отделом.

– Почему Шариным выгоднее? – серьезно заинтересовался инспектор.

– Знаете, как-то приятнее. Все-таки по педагогической линии.

– В таком случае вы арестованы.

---

[102] *ЧК* – Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.

Он ухватил телефонную трубку.

– Милиция?.. Немедленно пришлите милиционера взять заведующего колонией Горького, которого я арестовал на семь суток… Шарин.

– Мне что же? Ожидать в вашем кабинете?

– Да, вы будете здесь ожидать.

– Может быть, вы меня отпустите на честное слово? Пока придет милиционер, я получу кое-что в складе и отправлю мальчика в колонию.

– Вы никуда не пойдете отсюда.

Шарин схватил с вешалки плюшевую шляпу, которая очень шла к его черной шевелюре, и вылетел из кабинета. Тогда я взял телефонную трубку и вызвал предгубисполкома. Он терпеливо выслушал мой рассказ:

– Вот что, голубчик, не расстраивайтесь и поезжайте домой спокойно. Впрочем, лучше подождите милиционера и скажите, чтобы он вызвал меня.

Пришел милиционер.

– Вы заведующий колонией?

– Я.

– Так, значит, идемте.

– Предгубисполкома распорядился, что я могу ехать домой. Просил вас позвонить.

– Я никуда не буду звонить, пускай в районе начальник звонит. Идемте.

На улице Антон с удивлением посмотрел на меня в сопровождении конвоя.

– Подожди меня здесь.

– А вас скоро выпустят?

– Ты откуда знаешь, что меня можно выпустить?

– А тут черный проходил, так сказал: поезжай домой, заведующий не поедет. А бабы вышли какие-то в шапочках, так говорят: ваш заведующий арестован.

– Подожди, я сейчас приду.

В районе пришлось ожидать начальника. Только к четырем часам он выпустил меня на свободу.

Подвода была нагружена доверху мешками и ящиками. Мы с Антоном мирно ползли по Харьковскому шоссе, думали о своих делах, он, вероятно, – о фураже и выпасе, а я – о превратностях судьбы, специально приготовленных для завколов. Несколько раз останавливались, поправляли расползавшиеся мешки, вновь взбирались на них и ехали дальше.

Антон уже дернул левую вожжу, поворачивая на дорогу к колонии, как вдруг Малыш хватил в сторону, вздернул голову, попробовал вздыбиться: с дороги к колонии на нас налетел, загудел, затрещал, захрипел и пронесся к городу автомобиль. Промелькнула зеленая плюшевая шляпа, и Шарин растерянно глянул на меня. Рядом с ним сидел и придерживал воротник пальто усатый Черненко, председатель РКИ.[103]

Антон не имел времени удивляться неожиданному наскоку автомобиля: что-то напутал Малыш в сложной и неверной системе нашей упряжи. Но и я не имел времени удивляться: на нас карьером неслась пара колонистских лошадей, запряженная в громыхающую гарбу, набитую до отказа ребятами. На передке стоял и правил лошадьми Карабанов, втянув голову в плечи и свирепо сверкая черными цыганскими глазами вдогонку удирающему автомобилю. Гарба с разбегу пронеслась мимо нас, ребята что-то кричали, соскакивали с воза на землю, останавливали Карабанова, смеялись. Карабанов наконец очнулся и понял, в чем дело. На дорожном перекрестке образовалась целая ярмарка.

Хлопцы обступили меня. Карабанов, видимо, был недоволен, что все это так прозаически кончилось. Он даже не слез с гарбы, а со злобой поворачивал лошадей и ругался:

---

[103] *РКИ* – Рабоче-крестьянская инспекция.

– Да, повертайся ж, сатана! От, черты б тебе, позаводылы кляч!..

Наконец он с последним взрывом гнева перетянул правую и галопом понесся в колонию, стоя на передке и угрюмо покачиваясь на ухабах.

– Что у вас случилось? Что это за пожарная команда? – спросил я.

– Чого вы як показылысь? – спросил Антон.

Перебивая друг друга и толкаясь, ребята рассказали мне о том, что случилось. Представление о событии у них было очень смутное, несмотря на то, что все они были его свидетелями. Куда они летели на парной гарбе и что собирались совершить в городе, для них тоже было покрыто мраком неизвестности, и мои вопросы на этот счет они встречали даже удивленно.

– А кто его знает? Там было бы видно.

Один Задоров мог связно поведать о происшедшем:

– Да вы знаете, это все как-то быстро произошло, прямо налетело откуда-то. Они проехали на машине, мало кто и заметил, работали все. Пошли к вам, там что-то делали, ну, кое-кто из наших проведал, говорит – в ящиках роются. Что такое? Хлопцы сбежались к вашему крыльцу, а тут и они вышли. Слышим, говорят Ивану Ивановичу: «Принимайте заведывание». Ну, тут такое заварилось, ничего не разберешь: кто кричит, кто уже за грудки берется, Бурун на всю колонию орет: «Куда Антона девали?» Настоящий бунт. Если бы не я и Иван Иванович, там бы до кулаков дело дошло, у меня даже пуговицы поотрывали. Черный, тот здорово испугался да к машине, а машина тут же. Они очень быстро тронули, а ребята бегом за машиной да кричат, руками размахивают, черт знает что. И как раз же Семен из второй колонии с пустой гарбой.

Мы вошли в колонию. Успокоенный Карабанов у конюшни распрягал лошадей и отбивался от наседавшего Антона:

– Вам лошади – все равно как автомобиль, смотри – запарили.

– Ты понимаешь, Антон, тут было не до коней. Понимаешь? – весело блестел зубами и глазами Карабанов.

– Да еще раньше тебя, в городе, понял. Вы тут обедали, а нас по милициям водили.

Воспитателей я нашел в состоянии последнего испуга. Иван Иванович был такой – хоть в постель укладывай.

– Вы подумайте, Антон Семенович, чем это могло кончиться? Такие свирепые рожи у всех, – я думал, без ножей не обойдется. Спасибо Задорову: один не потерял головы. Мы их разбрасываем, а они, как собаки, злые, кричат… Фу-у!..

Я ребят не расспрашивал и вообще сделал вид, что ничего особенного не случилось, и они меня тоже ни о чем не пытали. Это было для них, пожалуй, и неинтересно: горьковцы были большими реалистами, их могло занимать только то, что непосредственно определяло поведение.

В наробраз меня не вызывали, по своему почину я тоже не ездил. Через неделю пришлось мне зайти в губРКИ. Меня пригласили в кабинет к председателю. Черненко встретил меня, как родственника:

– Садись, голубь, садись, – говорил он, потрясая мою руку и разглядывая меня с радостной улыбкой. – Ах, какие у тебя молодцы! Ты знаешь, после того, что мне наговорил Шарин, я думал, встречу забитых, несчастных, ну, понимаешь, жалких таких… А они, сукины сыны, как завертелись вокруг нас: черти, настоящие черти. А как за нами погнались, черт, такое дело! Шарин сидит и все толкует: «Я думаю, они нас не догонят». А я ему отвечаю: «Хорошо, если в машине все исправное». Ах, какая прелесть! Давно такой прелести не видел. Я тут рассказал кой-кому, животы рвали, под столы полезли…

С этого дня началась у нас дружба с Черненко.

[20] «Смычка» с селянством

Ремонт имения Трепке оказался для нас невероятно громоздкой и тяжелой штукой. Домов было много, все они требовали не ремонта, а почти полной перестройки. С деньгами было всегда напряженно. Помощь губернских учреждений выражалась главным образом в выдаче нам разных нарядов на строительные материалы, с этими нарядами нужно было ездить в другие города – Киев, Харьков. Здесь к нашим нарядам относились свысока, материалы выдавали в размере десяти процентов требуемого, а иногда и вовсе не выдавали. Полвагона стекла, которое нам после нескольких путешествий в Харьков удалось все же получить, были у нас отняты на рельсах, в самом нашем городе, гораздо более сильной организацией, чем колония.

Недостаток денег ставил нас в очень затруднительное положение с рабочей силой, на наемных рабочих надеяться почти не приходилось. Только плотничьи работы мы производили при помощи артели плотников.

Но скоро мы нашли источник денежной энергии. Это были старые, разрушенные сараи и конюшни, которых во второй колонии было видимо-невидимо. Трепке имели конный завод; в наши планы производство племенных лошадей пока что не входило, да и восстановление этих конюшен для нас оказалось бы не по силам, – «не к нашему рылу крыльцо», как говорил Калина Иванович.

Мы начали разбирать эти постройки и кирпич продавать селянам. Покупателей нашлось множество: всякому порядочному человеку нужно и печку поставить, и погреб выложить, а представители племени кулаков, по свойственной этому племени жадности, покупали кирпич просто в запас.

Разборку производили колонисты. В кузнице из разного старого барахла наделали ломиков, и «работа закипела».

Так как колонисты работали половину дня, а вторую половину проводили за учебными столами, то в течение дня ребята отправлялись во вторую колонию дважды: первая и вторая смены. Эти группы курсировали между колониями с самым деловым видом, что, впрочем, не мешало им иногда отвлекаться от прямого пути в погоне за какой-нибудь классической «зозулястой[104] куркой», доверчиво вышедшей за пределы двора подышать свежим воздухом. Поимки этой курки, а тем более полное использование всех калорий, в ней заключающихся, были операциями сложными и требовали энергии, осмотрительности, хладнокровия и энтузиазма. Операции эти усложнялись еще и потому, что наши колонисты все-таки имели отношение к истории культуры и без огня обходиться не могли.

Походы на работу во вторую колонию вообще позволяли колонистам стать в более тесные отношения с крестьянским миром, причем, в полном согласии с положениями исторического материализма, раньше всего колонистов заинтересовала крестьянская экономическая база, к которой они и придвинулись вплотную в описываемый период. Не забираясь далеко в рассуждения о различных надстройках, колонисты прямым путем проникали в каморки и погреба и, как умели, распоряжались собранными в них богатствами. Вполне правильно ожидая сопротивления своим действиям со стороны мелкособственнических инстинктов населения, колонисты старались проходить историю культуры в такие часы, когда инстинкты эти спят, то есть по ночам. И в полном согласии с наукой колонисты в течение некоторого времени интересовались исключительно удовлетворением самой первичной потребности человека – в пище. Молоко, сметана, сало, пироги – вот краткая номенклатура, которая в то время применялась колонией имени Горького в деле «смычки» с селом.

---

[104] *Зозулястая* (*укр.*) – пестрая, рябая, похожая на кукушку.

Пока этим столь научно обоснованным делом занимались Карабановы, Таранцы, Волоховы, Осадчие, Митягины, я мог спать спокойно, ибо эти люди отличались полным знанием дела и добросовестностью. Селяне по утрам после краткого переучета своего имущества приходили к заключению, что двух кувшинов молока не хватает, тем более что и сами кувшины стояли тут же и свидетельствовали о своевременности переучета. Но замок на погребе находился в полной исправности и даже был заперт непосредственно перед переучетом, крыша была цела, собака ночью «не гавкав», и вообще все предметы, одушевленные и неодушевленные, глядели на мир открытыми и доверчивыми глазами.

Совсем другое началось, когда к прохождению курса первобытной культуры приступило молодое поколение. В этом случае замок встречал хозяина с перекошенной от ужаса физиономией, ибо самая жизнь его была, собственно говоря, ликвидирована неумелым обращением с отмычкой, а то и с ломиком, предназначенным для дела восстановления бывшего имения Трепке. Собака, как вспомнил хозяин, ночью не только «гавкав», но прямо-таки «разрывався на части», и только хозяйская лень была причиной того, что собака не получила своевременного подкрепления. Неквалифицированная, грубая работа наших пацанов привела к тому, что скоро им самим пришлось переживать ужас погони разъяренного хозяина, поднятого с постели упомянутой собакой или даже с вечера поджидавшего непрошеного гостя. В этих погонях заключались уже первые элементы моего беспокойства. Неудачливый пацан бежал, конечно, в колонию, чего никогда бы не сделало старшее поколение. Хозяин приходил тоже в колонию, будил меня и требовал выдачи преступника. Но преступник уже лежал в постели, и я имел возможность наивно спрашивать:

– Вы можете узнать этого мальчика?

– Да как же я его узнаю? Видел, как сюды побигло.

– А может быть, это не наш? – делал я еще более наивный ход.

– Как же – не ваш? Пока ваших не было, у нас такого не водилось.

Потерпевший начинал загибать пальцы и отмечать фактический материал, имевшийся в его распоряжении:

– Вчора в ночи у Мирошниченка молоко выпито, позавчора поломано замка у Степана Верхолы, в ту субботу пропало двое курей у Гречаного Петра, а за день перед тем… там вдова живет Стовбина, може, знаете, так приготовила на базарь два глечика сметаны, пришла, бедная женщина, в погреб, а там все чисто перевернуто и сметану попсувало.[105] А у Василия Мощенко, а у Якова Верхолы, а у того горбатого, як его… Нечипора Мощенка…

– Да какие же доказательства?

– Да какие же доказательства? Вот я ж пришел, бо сюды побигло. Да больше и некому. Ваши ходять в Трепке и все подглядывают…

В то время я далеко не так добродушно относился к событиям. Жалко было и селян, досадно и тревожно было ощущать свое полное бессилие. Особенно неуютно было мне оттого, что я даже не знал всех историй, и можно было подозревать что угодно. А в то время, благодаря событиям зимы, у меня немного расшатались нервы.

В колонии на поверхности все представлялось благополучным. Днем все ребята работали и учились, вечером шутили, играли, на ночь укладывались спать и утром просыпались веселыми и довольными жизнью. А как раз ночью и происходили экскурсии на село. Старшие хлопцы встречали мои возмущенные и негодующие речи покорным молчанием. На некоторое время жалобы крестьян утихали, но потом снова возобновлялись, разгоралась их вражда к колонии.

Наше положение осложнялось тем обстоятельством, что на большой дороге грабежи продолжались. Они приняли теперь несколько иной характер, чем прежде: грабители забирали у

[105] *Псувати* (*укр.*) – портить, пакостить.

селян не столько деньги, сколько продукты, и при этом в самом небольшом количестве. Сначала я думал, что это не наших рук дело, но селяне в интимных разговорах доказывали:

– Ни, це, мабудь, ваши. От когось спаймают, прибьют, тогда увидите.

Хлопцы с жаром успокаивали меня:

– Брешут граки! Может быть, кто-нибудь из наших и залез куда в погреб, ну… бывает. Но чтоб на дороге – так это чепуха!

Я увидел, что хлопцы искренно убеждены, что на дороге наши не грабят, видел и то, что такой грабеж старшими колонистами оправдан не будет. Это несколько уменьшало мое нервное напряжение, но только до первого слуха, до ближайшей встречи с селянским активом.

Вдруг, однажды вечером, в колонию налетел взвод конной милиции. Все выходы из наших спален были заняты часовыми, и начался повальный обыск. Я тоже был арестован в своем кабинете, и это как раз испортило всю затею милиции. Ребята встретили милиционеров в кулаки, выскакивали из окон, в темноте уже начали летать кирпичи, по углам двора завязались свалки. На стоявших у конюшни лошадей налетела целая толпа, и лошади разбежались по всему лесу. В мой кабинет после шумной ругани и борьбы ворвался Карабанов и крикнул:

– Выходьте скорийше, бо бида буде!

Я выскочил во двор, и вокруг меня моментально сгрудились оскорбленные, шипящие злобой колонисты. Задоров был в истерике:

– Когда это кончится? Пускай меня отправляют в тюрьму, надоело!.. Арестант я или кто? Арестант? Почему так, почему обыскивают, лазят все?..

Перепуганный начальник взвода все же старался не терять тона:

– Немедленно прикажите вашим воспитанникам идти по спальням и стать возле своих кроватей.

– На каком основании производите обыск? – спросил я начальника.

– Не ваше дело. У меня приказ.

– Немедленно уезжайте из колонии.

– Как это – «уезжайте»!

– Без разрешения завгубнаробразом обыска производить не дам, понимаете, не дам, буду препятствовать силой!

– Как бы мы вас не обшукали! – крикнул кто-то из колонистов, но я на него загремел:

– Молчать!

– Хорошо, – сказал с угрозой начальник, – вам придется разговаривать иначе.

Он собрал своих, кое-как, уже при помощи развеселившихся колонистов, нашли лошадей и уехали, сопровождаемые ироническими напутствиями.

В городе я добился выговора какому-то начальству. После этого налета события стали развиваться чрезвычайно быстро. Селяне приходили ко мне возмущенные, грозили, кричали:

– Вчора на дороге ваши отняли масло и сало у Явтуховой жинки.

– Брехня!

– Ваши! Только шапку на глаза надвинув, шоб не пизналы.

– Да сколько же их было?

– Та одын був, каже баба. Ваш був! И пинжачок такий же.

– Брехня! Наши не могут этим делом заниматься.

Селяне уходили, мы подавленно молчали, и Карабанов вдруг выпаливал:

– Брешут, а я говорю – брешут! Мы б знали.

Мою тревогу ребята давно уже разделяли, даже походы на погреба как будто прекратились. С наступлением вечера колония буквально замирала в ожидании чего-то неожиданно нового, тяжелого и оскорбительного. Карабанов, Задоров, Бурун ходили из спальни в спальню, по темным углам двора, лазили по лесу. Я изнервничался в это время, как никогда в жизни.

И вот…

В «один прекрасный вечер» разверзлись двери моего кабинета, и толпа ребят бросила в комнату Приходько. Карабанов, державший Приходько за воротник, с силой швырнул его к моему столу:

– Вот!

– Опять с ножом? – спросил я устало.

– Какое с ножом? На дороге грабил!

Мир обрушился на меня. Рефлективно я спросил молчащего и дрожащего Приходько:

– Правда?

– Правда, – прошептал он еле слышно, глядя в землю.

В какую-то миллионную часть мгновения произошла катастрофа. В моих руках оказался револьвер.

– А! Черт!.. С вами жить!

Но я не успел поднести револьвер к своей голове. На меня обрушилась кричащая, плачущая толпа ребят.

Очнулся я в присутствии Екатерины Григорьевны, Задорова и Буруна. Я лежал между столом и стенкой на полу, весь облитый водой. Задоров держал мою голову и, подняв глаза к Екатерине Григорьевне, говорил:

– Идите туда, там хлопцы… они могут убить Приходько…

Через секунду я был на дворе. Я отнял Приходько уже в состоянии беспамятства, всего окровавленного.

[21] Игра в фанты

Это было в начале лета 1922 года. В колонии о преступлении Приходько замолчали. Он был сильно избит колонистами, долго пришлось ему пролежать в постели, и мы не приставали к нему ни с какими расспросами. Мельком я слышал, что ничего особенного в подвигах Приходько и не было. Оружия у него не нашли.

Но Приходько все же был бандит настоящий. На него вся катастрофа в моем кабинете, его собственная беда никакого впечатления не произвели. И в дальнейшем он причинил колонии много неприятных переживаний. В то же время он по-своему был предан колонии, и всякий ее враг не был гарантирован, что на его голову не опустится тяжелый лом или топор. Он был человек чрезвычайно ограниченный и жил всегда задавленный ближайшим впечатлением, первыми мыслями, приходящими в его глупую башку. Зато и в работе лучше Приходько не было. В самых тяжелых заданиях он не ломал настроения, был страстен с топором и молотом, если они опускались и не на голову ближнего.

У колонистов после описанных тяжелых дней появилось сильное озлобление против крестьян. Ребята не могли простить, что они были причиной наших страданий. Я видел, что если хлопцы и удерживаются от слишком явных обид крестьянам, то удерживаются только потому, что жалеют меня.

Мои беседы и беседы воспитателей на тему о крестьянстве, о его труде, о необходимости уважать этот труд никогда не воспринимались ребятами как беседы людей, более знающих и более умных, чем они. С точки зрения колонистов, мы мало понимали в этих делах, – в их глазах мы были городскими интеллигентами, неспособными понять всю глубину крестьянской непривлекательности.

– Вы их не знаете, а мы на своей шкуре знаем, что это за народ. Он за полфунта хлеба готов человека зарезать, а попробуйте у него выпросить что-нибудь… Голодному не даст ни за что, лучше пусть у него в каморке сгниет.

– Вот мы бандиты, пусть! Так мы все-таки знаем, что ошиблись, ну что ж… нас простили. Мы это знаем. А вот они – так им никто не нужен: царь был плохой, советская власть тоже плохая. Ему будет только тот хорош, кто от него ничего не потребует, а ему все даром даст. Граки, одно слово!

– Ой, я их не люблю, этих граков, видеть не могу, пострелял бы всех! – говорил Бурун, человек искони городской.

У Буруна на базаре всегда было одно развлечение: подойти к селянину, стоящему возле воза и с остервенением разглядывающему снующих вокруг него городских разбойников, и спросить:

– Ты урка?

Селянин в недоумении забывает о своей настороженности:

– Га?

– А-а! Ты – грак! – смеется Бурун и делает неожиданно молниеносное движение к мешку на возу: – Держи, дядько!

Селянин долго ругается, а это как раз и нужно Буруну: для него это все равно, что любителю музыки послушать симфонический концерт.

Бурун говорил мне прямо:

– Если бы не вы, этим куркулям хлопотно пришлось бы.

Одной из важных причин, послуживших порче наших отношений с крестьянством, была та, что колония наша находилась в окружении исключительно кулацких хуторов. Гончаровка, в которой жило большею частью настоящее трудовое крестьянство, была еще далека от нашей жизни. Ближайшие же наши соседи, все эти Мусии Карповичи и Ефремы Сидоровичи, гнез-

дились в отдельно поставленных, окруженных не плетнями, а заборами, крытых аккуратно и побеленных белоснежно хатах, ревниво никого не пускали в свои дворы, а когда бывали в колонии, надоедали нам постоянными жалобами на продразверстку, предсказывали, что при такой политике советская власть не удержится, а в то же время выезжали на прекрасных жеребцах, по праздникам заливались самогоном, от их жен пахло новыми ситцами, сметаной и варениками, сыновья их представляли собой нечто вне конкурса на рынке женихов и очаровательных кавалеров, потому что ни у кого не было таких пригнанных пиджаков, таких новых темно-зеленых фуражек, таких начищенных сапог, украшенных зимой и летом блестящими, великолепными калошами.

Колонисты хорошо знали хозяйство каждого нашего соседа, знали даже состояние отдельной сеялки или жатки, потому что в нашей кузнице им часто приходилось налаживать и чинить эти орудия. Знали колонисты и печальную участь многих пастухов и работников, которых кулачье часто безжалостно выбрасывало из дворов, даже не расплатившись как следует.

По правде говоря, я *не только не сумел заразить колонистов симпатиями к крестьянству*, но и сам заразился от них неприязнью к этому притаившемуся за воротами и заборами кулацкому миру.

Тем не менее, постоянные недоразумения меня беспокоили. Прибавились к этому и враждебные отношения с сельским начальством. Лука Семенович, уступив нам трепкинское поле, не потерял надежды выбить нас из второй колонии. Он усиленно хлопотал о передаче сельсовету мельницы и всей трепкинской усадьбы для устройства якобы школы. Ему удалось при помощи родственников и кумовьев в городе купить для переноса в село один из флигелей второй колонии. Мы отбились от этого нападения кулаками и дрекольями; мне с трудом удалось ликвидировать продажу и доказать в городе, что флигель покупается просто на дрова для самого Луки Семеновича и его родственников.

Лука Семенович и его приспешники писали и посылали в город бесконечные *доносы и* жалобы на колонию, они деятельно поносили нас в различных учреждениях в городе, и по их настоянию был совершен налет милиции.

Еще зимою Лука Семенович вечером ввалился в мою комнату и начальственно потребовал:

– А покажите мне документы, куда вы деваете гроши, которые берете с селянства за кузнечные работы.

Я ему сказал:

– Уходите!

– Как?

– Вон отсюда!

Наверное, мой вид не предвещал никаких успехов в выяснении судьбы селянских денег, и Лука Семенович смылся беспрекословно. Но после того он уже сделался открытым врагом моим и всей нашей организации. Колонисты тоже ненавидели Луку со «всем пылом юности». В июне, в жаркий полдень, на горизонте за озером показалось целое шествие. Когда оно приблизилось к колонии, мы различили потрясающие подробности: двое «граков» вели связанных Опришко и Сороку.

Опришко был во всех отношениях героической личностью и в колонии боялся только Антона Братченко, под рукой которого работал и от руки которого не один раз претерпевал. Он гораздо был больше Антона и сильнее его, но использовать эти преимущества ему мешала ничем не объяснимая влюбленность в старшего конюха и его удачу. По отношению ко всем остальным колонистам Опришко держался с достоинством и никому не позволял на себе ездить. Ему помогал замечательно устроенный характер: был он всегда весел и любил такую же веселую компанию, а потому находился только в таких пунктах колонии, где не было ни

одного опущенного носа и кислой физиономии. Из коллектора[106] он ни за что не хотел отправляться в колонию, и мне пришлось лично ехать за ним. Он встретил меня, лежа на кровати, презрительным взглядом:

– Пошли вы к черту, никуда я не поеду!

Меня предупредили о его героических достоинствах, и поэтому я с ним заговорил очень подходящим тоном:

– Мне очень неприятно вас беспокоить, сэр, но я принужден исполнить свой долг и очень прошу вас занять место в приготовленном для вас экипаже.

Опришко был сначала поражен моим «галантерейным обращением» и даже поднялся с кровати, но потом прежний каприз взял в нем верх, и он снова опустил голову на подушку.

– Сказал, что не поеду!.. И годи!

– В таком случае, уважаемый сэр, я, к великому сожалению, принужден буду применить к вам силу.

Опришко поднял с подушки кудрявую голову и посмотрел на меня с неподдельным удивлением:

– Смотри ты, откуда такой взялся? Так меня и легко взять силой!

– Имейте в виду…

Я усилил нажим в голосе и уже прибавил к нему оттенок иронии:

– … дорогой Опришко.

И вдруг заорал на него:

– Ну, собирайся, какого черта развалился! Вставай, тебе говорят!

Он сорвался с постели и бросился к окну:

– Ей-богу, в окно выпрыгну!

Я сказал ему с презрением:

– Или прыгай немедленно в окно, или отправляйся на воз, – мне с тобой волынить некогда.

Мы были на третьем этаже, поэтому Опришко засмеялся весело и открыто.

– Вот причепились!.. Ну, что ты скажешь? Вы заведующий колонией Горького?

– Да.

– Ну, так бы и сказали! Давно б поехали.

Он энергично бросился собираться в дорогу.

В колонии он участвовал решительно во всех операциях колонистов, но никогда не играл первую скрипку и, кажется, больше искал развлечений, чем какой-либо наживы.

Сорока был моложе Опришки, имел круглое смазливое лицо, был основательно глуп, косноязычен и чрезвычайно неудачлив. Не было такого дела, в котором он не «засыпался» бы. Поэтому, когда колонисты увидали его связанным рядом с Опришко, они были очень недовольны:

– Охота ж была Дмитру связываться с Сорокой…

Конвоирами оказались председьсовета и Мусий Карпович – наш старый знакомый.

Мусий Карпович в настоящую минуту держался с видом обиженного ангела. Лука Семенович был идеально трезв и начальственно неприступен. Его рыжая борода была аккуратно расчесана, под пиджаком надета чистейшая вышитая рубаха, – очевидно, недавно был в церкви.

Председатель начал:

– Хорошо вы воспитываете ваших колонистов.

– А вам какое до этого дело?

---

[106] *Коллектор* – учреждение, в которое поступали беспризорные дети и где их распределяли по детским домам, интернатам и колониям.

– А вот какое: людям от ваших воспитанников житья нет, на дороге грабят, крадут все.

– Эй, дядя, а ты имел право связывать их? – раздалось из толпы колонистов.

– Он думает, что это старый режим…

– Вот взять его в работу…

– Замолчите! – сказал я колонистам. – В чем дело, рассказывайте.

Заговорил Мусий Карпович.

– Повесила жинка спидницю[107] и одеяло на плетни, а эти двое проходили, смотрю – уже нету. Я за ними, а они – бегом. Куда ж мне за ними гнаться! Да спасибо Лука Семенович из церкви идут, так мы их и задержали…

– Зачем связали? – опять из толпы.

– Да чтоб не повтикалы. Зачем…

– Тут не о том разговор, – заговорил председатель, – а пойдем протокола писать.

– Да можно и без протокола. Вернули ж вам веши?

– Мало чего! Обязательно протокола.

Председатель решил над нами покуражиться, и, правду сказать, основания были у него наилучшие: первый раз поймали колонистов на месте преступления.

Для нас такой оборот дела был очень неприятен. Протокол означал для хлопцев верный допр, а для колонии несмываемый позор.

– Эти хлопцы поймались в первый раз, – сказал я. – Мало ли что бывает между соседями! На первый раз нужно простить.

– Нет, – сказал рыжий, – какие там прощения! Пойдемте в канцелярию писать протокола.

Мусий Карпович тоже вспомнил.

– А помните, как меня таскали ночью? Топор и доси у вас, да штрафу заплатил сколько!

Да, крыть было нечем. Положили нас куркули на обе лопатки. Я направил победителей в канцелярию, а сам сказал хлопцам со злобой:

– Допрыгались, черт бы вас побрал! «Спидныци» вам нужны! Теперь позора не оберетесь… Вот колотить скоро начну мерзавцев. А эти идиоты в допре насидятся.

Хлопцы молчали, потому что действительно допрыгались.

После такой ультрапедагогической речи и я направился в канцелярию.

Часа два я просил и уламывал председателя, обещал, что такого больше никогда не будет, согласился сделать новый колесный ход для сельсовета по себестоимости. Председатель наконец поставил только одно условие:

– Пусть все хлопцы попросят.

За эти два часа я возненавидел председателя на всю жизнь. Между разговорами у меня мелькала кровожадная мысль: может быть, удастся поймать этого председателя в темном углу, будут бить – не отниму.

Так или иначе, а выхода не было. Я приказал колонистам построиться у крыльца, на которое вышло начальство. Приложив руку к козырьку, я от имени колонии сказал, что мы очень сожалеем об ошибке наших товарищей, просим их простить и обещаем, что в дальнейшем такие случаи повторяться не будут. Лука Семенович сказал такую речь:

– Безусловно, что за такие вещи нужно поступать по всей строгости закона, потому что селянин – это безусловно труженик. И вот, если он повесил юбку, а ты ее берешь, то это враги народа, пролетариата, *который без юбки так оставить не может*. Мне, на которого возложили советскую власть, нельзя допускать такого беззакония, чтобы всякий бандит и преступник хватал. А что вы тут просите безусловно и обещаете, так это, кто его знает, как оно будет. Если вы просите низко и ваш заведующий, он должен воспитывать вас к честному гражданству, а не как бандиты. Я безусловно прощаю.

---

[107] *Спидныця* (*укр.*) – юбка.

Я дрожал от унижения и злости. Опришко и Сорока, бледные, стояли в ряду колонистов.

Начальство и Мусий Карпович пожали мне руку, что-то говорили величественно-великодушное, но я их не слышал.

– Разойдись!

Над колонией разлилось и застыло знойное солнце. Притаились над землей запахи чебреца. Неподвижный воздух синими струями окостенел над лесом.

Я оглянулся вокруг. А вокруг была все та же колония, те же каменные коробки, те же колонисты, и завтра будет все то же: спидныци, председатель, Мусий Карпович, поездки в скучный, засиженный мухами город. Прямо передо мной была дверь в мою комнату, в которой стояли «дачка» и некрашеный стол, а на столе лежала пачка махорки.

«Куда деваться? Ну что я могу сделать? Что я могу сделать?»

Я повернул в лес.

В сосновом лесу нет тени в полдень, но здесь всегда замечательно прибрано, далеко видно, и стройные сосенки так организованно, в таких непритязательных мизансценах умеют расположиться под небом.

Несмотря на то, что мы жили в лесу, мне почти не приходилось бывать в самой его гуще. Человеческие дела приковывали меня к столам, верстакам, сараям и спальням. Тишина и чистота соснового леса, пропитанный смолистым раствором воздух притягивали к себе. Хотелось никуда отсюда не уходить и самому сделаться вот таким стройным, мудрым, ароматным деревом и в такой изящной, деликатной компании стоять под синим небом.

Сзади хрустнула ветка. Я оглянулся: весь лес, сколько видно, был наполнен колонистами. Они осторожно передвигались в перспективе стволов, только в самых отдаленных просветах перебегали по направлению ко мне.

Я остановился, удивленный. Они тоже замерли на месте и смотрели на меня заостренными глазами, смотрели с каким-то неподвижным, испуганным ожиданием.

– Вы чего здесь? Чего вы за мною рыщете?

Ближайший ко мне Задоров отделился от дерева и грубовато сказал:

– Идемте в колонию.

У меня что-то брыкнуло в сердце.

– А что в колонии случилось?

– Да ничего… Идемте.

– Да говори, черт! Что вы, нанялись сегодня воду варить надо мной?

Я быстро шагнул к нему навстречу. Подошло еще два-три человека, остальные держались в сторонке. Задоров шепотом сказал:

– Мы уйдем, только сделайте для нас одно одолжение.

– Да что вам нужно?

– Дайте сюда револьвер.

– Револьвер?

Я вдруг догадался, в чем дело, и рассмеялся:

– Ах, револьвер! Извольте. Вот чудаки! Но ведь я же могу повеситься или утопиться в озере.

Задоров вдруг захохотал на весь лес.

– Да нет, пускай у вас! Нам такое в голову пришло. Вы гуляете? Ну, гуляйте. Хлопцы, назад!

Что же случилось?

Когда я повернул в лес, Сорока влетел в спальню:

– Ой, хлопци, голубчики ж, ой, скорийше идить в лес! Антон Семенович стреляться.

Его не дослушали и вырвались из спальни.

Вечером все были невероятно смущены, только Карабанов валял дурака и вертелся между кроватями, как бес. Задоров мило скалил зубы и все почему-то прижимался к цветущему личику Шелапутина. Бурун не отходил от меня и настойчиво-таинственно помалкивал. Опришко занимался истерикой: лежал в комнате у Козыря и ревел в грязную подушку. Сорока, избегая насмешек ребят, куда-то скрылся.

Задоров сказал:

– Давайте играть в фанты.

И мы действительно играли в фанты. Бывают же такие гримасы педагогики: сорок достаточно оборванных, в достаточной мере голодных ребят при свете керосиновой лампочки самым веселым образом занимались фантами. Только без поцелуев.

[22] О живом и мертвом

Весною нас к стенке прижали вопросы инвентаря. Малыш и Бандитка просто никуда не годились, на них нельзя было работать. Ежедневно с утра в конюшне Калина Иванович произносил контрреволюционные речи, упрекая советскую власть в бесхозяйственности и в безжалостном отношении к животным:

– Если ты строишь хозяйство, так и дай же живой инвентарь, а не мучай бессловесную тварь. Теорехтически это, конечно, лошадь, а прахтически так она падает, и жалко смотреть, а не то что работать.

Братченко вел прямую линию. Он любил лошадей просто за то, что они живые лошади, и всякая лишняя работа, наваленная на его любимцев, его возмущала и оскорбляла. На всякие домогательства и упреки он всегда имел в запасе убийственный довод:

– А вот если бы тебя заставили потягать плуг? Интересно бы послушать, как бы ты запел.

Разговоры Калины Ивановича он понимал как директиву не давать лошадей ни для какой работы. Но мы и требовать не имели охоты. Во второй колонии была уже отстроена конюшня, нужно было ранней весной перевести туда двух лошадей для вспашки и посева. Но переводить было нечего.

Как-то в разговоре с Черненко, председателем губернской РКИ, я рассказал о наших затруднениях: с мертвым инвентарем кое-как перекрутимся, на весну хватит, а вот с лошадьми беда. Ведь шестьдесят десятин! А не обработаем – что нам запоют селяне?

Черненко задумался и вдруг вскочил с радостью:

– Стой! У меня же здесь имеется хозяйственная часть. На весну нам лошадей столько не нужно. Я вам дам на время трех, кстати, и кормить не нужно будет, а вы месяца через полтора возвратите. Да вот поговори с нашим завхозом.

Завхоз РКИ оказался человеком крутым и хозяйственным. Он потребовал солидную плату за прокат лошадей: за каждый месяц пять пудов пшеницы и колеса для их экипажа.

– У вас же есть колесная.

– Разве же так можно? Шкуру сдираете! С кого?

– Я заведующий хозяйством, а не добрая барыня. Лошади какие! Я бы не дал ни за что – испортите, загоняете, знаю вас. Я таких лошадей два года собирал – не лошади, а красота!

Впрочем, я мог бы наобещать ему по сто пудов пшеницы и колеса для всех экипажей в городе. Нам нужны были лошади.

Завхоз написал договор в двух экземплярах, в котором все было изложено очень подробно и внушительно:

> «… именуемая в дальнейшем колонией… каковые колеса будут считаться переданными хозяйственной части губРКИ после приема их специальной комиссией и составления соответствующего акта… За каждый просроченный день возвращения лошадей колония уплачивает хозяйственной части губРКИ по десять фунтов пшеницы за одну лошадь… А в случае невыполнения колонией настоящего договора колония уплачивает неустойку в размере пятикратной стоимости убытков…»

На другой день Калина Иванович и Антон с большим торжеством въехали в колонию. Малыши с утра дежурили далеко на дороге; вся колония, даже воспитатели, томились в ожидании. Шелапутин с Тоськой выиграли больше всех: они встретили процессию на шоссе и немедленно взгромоздились на коней. Калина Иванович не способен был ни улыбаться, ни разговаривать, настолько наполнили его существо важность и недоступность. Антон даже головы не

повернул в нашу сторону – вообще все живые существа потеряли для него всякую цену, кроме тройки вороных лошадей, привязанных сзади к нашему возу.

Калина Иванович вылез из гробика, стряхнул солому с пиджака и сказал Антону:

– Ты ж там смотри, поставить как следует, это тебе не какие-нибудь Бандитки.

Антон, бросив отрывистые распоряжения своим помощникам, запихивал старых любимцев в самые дальние и неудобные станки, грозил чересседельником любопытным, заглядывающим в конюшню, а Калине Ивановичу ответил по-приятельски грубовато:

– Упряжь гони, Калина Иванович, это барахло не годится!

Лошади были все вороные, высокие и упитанные. Они принесли с собою старые клички, и это в глазах колонистов сообщало им некоторую родовитость. Звали их: Зверь, Коршун и Мэри.

Впрочем, Зверь скоро разочаровал нас: это был видный жеребец, но для сельскохозяйственной работы не подходил, скоро уставал и задыхался. Зато Коршун и Мэри оказались во всех отношениях удобными коняками: сильными, тихими, красивыми. Надежды Антона на какую-то чудесную рысь, благодаря которой он надеялся затмить нашим выездом всех городских извозчиков, правда, оказались напрасными, но в плуге и в сеялке они были великолепны, и Калина Иванович только кряхтел от удовольствия, докладывая мне по вечерам, сколько вспахано и сколько засеяно. Беспокоило его только в высшей степени неудобное ведомственное положение лошадиных хозяев.

– Все это хорошо, знаешь, а только с этим РКИ связываться… как-то оно… Что захотят, *паразиты*, то и сделают. А жалиться куда ж пойдешь? В РКИ?

Во второй колонии зашевелилась жизнь. Один из домов был закончен, и в нем поселились шесть колонистов. Жили они там без воспитателя и без кухарки, запасались кое-какими продуктами из нашей кладовой и кое-как сами готовили себе пищу в печурке в саду. На обязанности их лежало: охранять сад и постройки, держать переправу на Коломаке и работать в конюшне, в которой стояли две лошади и где эмиссаром Братченко сидел Опришко. Сам Антон решил остаться в главной колонии: здесь было люднее и веселее. Он ежедневно совершал инспекторские наезды во вторую колонию, и его посещений побаивались не только конюхи, не только Опришко, но и все колонисты.

На полях второй колонии шла большая работа. Шестьдесят десятин все были засеяны, правда, без особенного агрономического умения и без правильного плана полей, но были там и пшеница озимая, и пшеница яровая, и рожь, и овес. Несколько десятин было под картофелем и свеклой. Здесь требовались полка и окучивание, и нам поэтому приходилось разрываться на части. В это время в колонии было уже шестьдесят колонистов.

Между первой и второй колониями в течение всего дня и до самой глубокой ночи совершалось движение: проходили группы колонистов на работу и с работы, проезжали наши подводы с семенным материалом, фуражом и продуктами для колонистов, проезжали наемные селянские подводы с материалами для постройки, Калина Иванович в стареньком кабриолете, который он где-то выпросил, верхом на Звере проносился Антон, замечательно ловко сидя в седле.

По воскресеньям почти вся колония отправлялась купаться к Коломаку, – колонисты, воспитатели, а за ними как-то понемногу приучились собираться на берегу уютной, веселой речушки соседние парубки и девчата, комсомольцы с Пироговки и Гончаровки и кулацкие сынки с наших хуторов. Наши столяры выстроили на Коломаке небольшую пристань, и мы держали на ней флаг с буквами «КГ». Между пристанью и нашим берегом целый день курсировала зеленая лодка с таким же флагом, обслуживаемая Митькой Жевелием и Витькой Богоявленским. Наши девчата, хорошо разбираясь в значении нашего представительства на Коломаке, из разных остатков девичьих нарядов сшили Митьке и Витьке матросские рубашки, и

много пацанов как в колонии, так и на много километров кругом свирепо завидовали этим двум исключительно счастливым людям. Коломак сделался центральным нашим клубом.

В самой колонии было весело и звучно от постоянного рабочего напряжения, от неизбывной рабочей заботы, от приезда селян-заказчиков, от воркотни Антона и сентенций Калины Ивановича, от неистощимого хохота и проделок Карабанова, Задорова и Белухина, от непременных неудач Сороки и Галатенко, от струнного звона сосен, от солнца и молодости.

К этому времени мы уже забыли, что такое грязь, что такое вши и чесотка. Колония блистала чистотой и новыми заплатами, аккуратно наложенными на каждое подозрительное место, все равно на каком предмете: на штанах, на заборе, на стенке сарая, на старом крылечке. В спальнях стояли те же «дачки», но на них запрещалось сидеть днем, и для этого специально имелись некрашеные сосновые лавки. В столовой такие же некрашеные столы ежедневно скоблились особыми ножами, сделанными в кузнице.

В кузнице к этому времени совершились существенные перемены. Дьявольский план Калины Ивановича был уже выполнен полностью: Голованя прогнали за пьянство и контрреволюционные собеседования с заказчиками, но кузнечное оборудование Головань и не пытался получить обратно – безнадежное это было дело. Он только укоризненно и «*по-хохлятски*» иронически покачал головой, когда уходил:

– И вы такие ж хозяева, як и вси, – ограбили чоловика, от и хозяева!

Белухина такими речами нельзя было смутить, человек недаром читал книжки и жил между людьми. Он бодро улыбнулся в лицо Голованя и сказал:

– Какой ты несознательный гражданин, Софрон! Работаешь у нас второй год, а до сих пор не понимаешь: это ведь орудия производства.

– Ну, я ж и кажу…

– А орудия производства должны, понимаешь, по науке, принадлежать пролетариату. А вот тебе и пролетариат стоит, видишь?

И он показал Голованю настоящих живых представителей славного класса пролетариев: Задорова, Вершнева и Кузьму Лешего.

В кузнице командует Семен Богданенко, настоящий потомственный кузнец, фамилия, пользующаяся старой славой в паровозных мастерских. У Семена в кузнице военная дисциплина и чистота: все гладилки, молотки и молоты чинно глядят каждый с назначенного ему места, земляной пол выметен, как в хате у хорошей хозяйки, на горне не просыпано ни одного грамма угля, а с заказчиками разговоры очень короткие и ясные:

– Здесь тебе не церковь – нечего торговаться.

Семен Богданенко грамотен, чисто выбрит и никогда не ругается.

В кузнице работы по горло: и наш инвентарь и селянский. Другие мастерские в это время почти прекратили работу, только Козырь с двумя колонистами по-прежнему возился в своем колесном сарайчике: на колеса спрос не уменьшался.

Для хозяйственной части РКИ нужны были особые колеса – под резиновые шины, а таких колес Козырь никогда не делал. Он был очень смущен этой гримасой цивилизации и каждый вечер после работы грустил:

– Не знали мы этих резиновых шин. Господь наш Иисус Христос пешком ходил и апостолы… а теперь люди на железных шинах пусть бы ездили.

Калина Иванович строго говорил Козырю:

– А железная дорога? А автомобиль? Как, по-твоему? Что ж с того, что твой господь пешком ходив? Значит, некультурный или, может, деревенский, такой же, как и ты. А может, и ходив того, что голодранець, а як бы посадив кто на машину, так и понравилось бы. А то – «пешком ходив»! Стыдно старому человеку такое говорить.

Козырь несмело улыбнулся и растерянно шептал:

– Если б посмотреть, как это под резиновые шины, так, может, с божьей помощью и сделали бы. А на сколько ж спиц, господь его знает?

– Да ты пойди в РКИ и посмотри. Посчитай.

– Господи прости, где мне, старому, найти такое?

Как-то в середине июня Черненко захотел ребятам доставить удовольствие:

– Я тут кое с кем говорил, так к вам балерины приедут, пусть ребята посмотрят. У нас в оперном, знаешь, хорошие балерины. Ты вечерком их доставь туда.

– Это хорошо.

– Только смотри, народ они нежный, а твои бандиты их перепугают чем. Да на чем ты их довезешь?

– А у нас есть экипаж.

– Видел я. Не годится. Ты пришли лошадей, а экипаж пусть возьмут мой, здесь запрягут и – за балеринами. Да на дороге поставь охрану, а то еще попадутся кому в лапы: вещь соблазнительная.

Балерины приехали поздно вечером, всю дорогу дрожали, смешили Антона, который их успокаивал:

– Да чего вы боитесь, у вас же и взять нечего. Это не зима: зимой шубы забрали бы.

Наша охрана, неожиданно вынырнувшая из лесу, привела балерин в такое состояние, что по приезде в колонию их немедленно нужно было поить валерьянкой.

Танцевали они очень неохотно и сильно не понравились ребятам. Одна, помоложе, с великолепной и выразительной смуглой спиной, в течение вечера всю эту спину истратила на выражение высокомерного и брезгливого равнодушия ко всей колонии. Другая, постарше, поглядывала на нас с нескрываемым страхом. Ее вид особенно раздражал Антона:

– Ну, скажите, пожалуйста, стоило пару коней гонять в город и обратно, а потом опять в город и обратно? Я вам таких и пешком приведу сколько угодно из города.

– Так те танцевать не будут! – смеется Задоров.

– Ого! Хиба ж так?

За роялем, давно уже украшавшим одну из наших спален, – Екатерина Григорьевна. Играет она слабо, и музыка ее не приспособлена к балету, а балерины не настолько деликатны, чтобы как-нибудь замять два-три такта. Они обиженно изнемогают от варварских ошибок и остановок. Кроме того, они страшно спешили на какой-то интересный вечер.

Пока у конюшни, при фонарях и шипящей ругани Антона, запрягали лошадей, балерины страшно волновались: они обязательно опоздают на вечер. От волнения и презрения к этой провалившейся в темноте колонии, к этим притихшим колонистам, к этому абсолютно чуждому обществу они ничего даже не могли выразить, а только тихонько стонали, прислонившись друг к другу. Сорока на козлах бузил по поводу каких-то постромок и кричал, что он не поедет. Антон, не стесняясь присутствием гостей, отвечал Сороке:

– Ты кто – кучер или балерина? Так чего ты танцуешь на козлах? Ты не поедешь? Вставай!..

Сорока наконец дергает вожжами. Балерины замерли и в предсмертном страхе поглядывают на карабин, перекинутый через плечи Сороки. Все-таки тронулись. И вдруг снова крик Братченко:

– Да что ты, ворона, наделал? Чи тебе повылазило, чи ты сказывся, как ты запрягал? Куда ты Рыжего поставил, куда ты Рыжего всунул? Перепрягай! Коршуна под руку, – сколько раз тебе говорил!

Сорока не спеша стаскивает винтовку и укладывает на ноги балерин. Из фаэтона раздаются слабые звуки сдерживаемых рыданий.

Карабанов за моей спиной говорит:

– Таки добрало. А я думал, что не доберет. Молодцы хлопци!

Через пять минут экипаж снова трогается. Мы сдержанно прикладываем руки к козырькам фуражек, без всякой, впрочем, надежды получить ответное приветствие. Резиновые шины запрыгали по камням мостовой, но в это время мимо нас летит вдогонку за экипажем нескладная тень, размахивает руками и орет:

– Стойте! Постойте ж, ради Христа! Ой, постойте ж, голубчики!

Сорока в недоумении натягивает вожжи, одна из балерин подскакивает с сиденья.

– От было забыл, прости, царица небесная! Дайте ось спицы посчитаю…

Он наклоняется над колесом, рыдания из фаэтона сильнее, и к ним присоединяется приятное контральто:

– Ну, успокойся же, успокойся…

Карабанов отталкивает Козыря от колеса:

– Иди ты, дед, к…

Но сам Карабанов не выдерживает, фыркает и опрокидывается в лес.

Я тоже выхожу из себя:

– Трогай, Сорока, довольно волынить! Нанялись, что ли?!

Сорока лупит с размаху Коршуна. Колонисты заливаются откровенным смехом, под кустом стонет Карабанов, даже Антон хохочет:

– Вот будет потеха, если еще и бандиты остановят! Тогда обязательно опоздают на вечер.

Козырь растерянно стоит в толпе и никак не может понять, какие важные обстоятельства могли помешать посчитать спицы.

* * *

За разными заботами мы и не заметили, как прошли полтора месяца. Завхоз РКИ приехал к нам минута в минуту.

– Ну, как наши лошади?

– Живут.

– Когда вы их пришлете?

Антон побледнел:

– Как это – «пришлете»? Ого, а кто будет работать?

– Договор, товарищи, – сказал завхоз черствым голосом, – договор. А пшеницу когда можно получить?

– Что вы! Надо же собрать да обмолотиться, пшеница еще в поле.

– А колеса?

– Да, понимаете, наш колесник спицы не посчитал, не знает, на сколько спиц делать колеса. И размеры ж…

Завхоз чувствовал себя большим начальством в колонии. Как же, завхоз РКИ!

– Придется платить неустойку по договору. По договору. И с сегодняшнего дня, знайте же, десять фунтов в день, десять фунтов пшеницы. Как хотите.

Завхоз уехал. Братченко со злобой проводил его беговые дрожки и сказал коротко:

– Сволочь!

Мы были очень расстроены. Лошади до зарезу нужны, но не отдавать же ему весь урожай!

Калина Иванович ворчал:

– Я им не отдам пшеницу, этим паразитам: пятнадцать пудов в месяц, а теперь еще по десять фунтов. Они там пишут все по теории, а мы, значит, хлеб робым. А потом им и хлеб отдай, и лошадей отдай. Где хочешь, бери, а пшеницы я не дам!

Ребята отрицательно относились к договору:

– Если им пшеницу отдавать, так пусть она лучше на корне посохнет. Або нехай забирают пшеницу, а лошадей нам оставят.

Братченко решил вопрос более примирительно:

– Вы можете и пшеницу отдавать, и жито, и картошку, а лошадей я не отдам. Хоть ругайтесь, хоть не ругайтесь, а лошадей они не увидят.

Наступил июль. На лугу ребята косили сено, и Калина Иванович расстраивался:

– Плохо косят хлопцы, не умеют. Так это ж сено, а как же с житом будет, прямо не знаю. Жито ж семь десятин, да пшеницы восемь десятин, да яровая, да овес. Что ты его будешь делать? Надо непременно жатку покупать.

– Что ты, Калина Иванович? За какие деньги купишь жатку?

– Хоть лобогрейку. Стоила раньше полтораста рублей або двести.

Вечером он пришел ко мне и принес пригоршню жита:

– Видишь, через два дня, никак не позже, убирать.

Готовились косить жито косами. Жатву решили открыть торжественно, праздником первого снопа. В нашей колонии на теплом песке жито поспевало раньше, и это было удобно для устройства праздника, к которому мы готовились как к очень большому торжеству. Было приглашено много гостей, варили хороший обед, выработали красивый и значительный ритуал торжественного начала жатвы. Уже украсили арками и флагами поле, уже пошили хлопцам свежие костюмы, но Калина Иванович был сам не свой.

– Пропал урожай! Пока выкосят, посыплется жито. Для ворон работали.

Но в сараях колонисты натачивали косы и приделывали к ним грабельки, успокаивая Калину Ивановича:

– Ничего не пропадет, Калина Иванович, все будет, как у настоящих граков.

Было назначено восемь косарей.

В самый день праздника рано утром разбудил меня Антон.

– Там дядько приехал и жатку привез.

– Какую жатку?

– Привез такую машину. Здоровая, с крыльями – жатка. Говорит, чи не купят?

– Так ты его отправь. За какие же деньги – ты же знаешь…

– А он говорит: може, променяют. Он на коня хочет променять.

Оделся я, вышел к конюшне. Посреди двора стояла жатвенная машина, еще не старая, видно, для продажи специально выкрашенная. Вокруг нее толпились колонисты, и тут же злобно посматривал на жатку, и на хозяина, и на меня Калина Иванович.

– Что это он, в насмешку приехав, что ли? Кто его сюда притащив?

Хозяин распрягал лошадей. Человек аккуратный, с благообразной сивой бородой.

– А почему продаешь? – спросил Бурун.

Хозяин оглянулся:

– Да сына женить треба. А у меня есть жатка, – другая жатка, с нас хватит, а вон коня нужно сыну дать.

Карабанов зашептал мне на ухо:

– Брешет. Я этого дядька знаю… Вы не с Сторожевого?

– Эге ж, с Сторожевого. А ты ж що ж тут? А чи ты не Семен Карабан? Панаса сынок?

– Так как же! – обрадовался Семен. – Так вы ж Омельченко? Мабудь, боитесь, що отберут? Ага ж?

– Та оно и то, що отобрать могуть, да и сына женить же…

– А хиба ваш сын доси не в банде?

– Що вы, Христос з вами!..

Семен принял на себя руководство всей операцией. Он долго беседовал с хозяином возле морд лошадей, они друг другу кивали головами, хлопали по плечам и локтям. Семен имел вид настоящего хозяина, и было видно, что и Омельченко относится к нему, как к человеку понимающему.

Через полчаса Семен открыл секретное совещание на крыльце у Калины Ивановича. На совещании присутствовали я, Калина Иванович, Карабанов, Бурун, Задоров, Братченко и еще двое-трое старших колонистов. Остальные в это время стояли вокруг жатки и молчаливо поражались тому, что на свете у некоторых людей существует такое механическое счастье.

Семен объяснил, что дядько хочет получить за жатку коня, что в Сторожевом будут производить учет машин и хозяин боится, что отберут даром, а коня не отберут, потому что он женит сына.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.